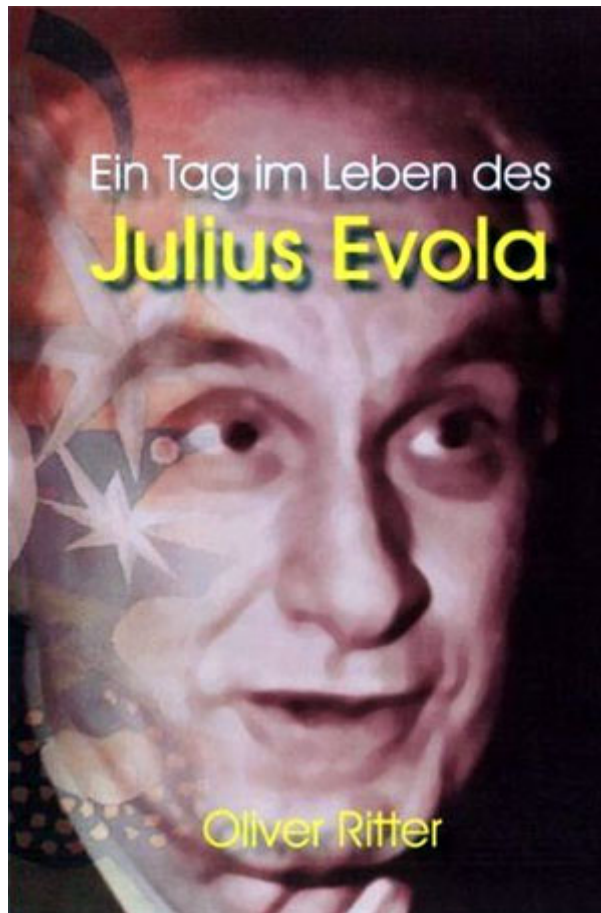


**Оливер Риттер**

## **ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ЮЛИУСА ЭВОЛЫ**



---

Издательство: Регин-Ферлаг, 2006 г.

**О книге:** *Юлиус Эвола, великий итальянский культурный философ, замученный старостью и болезнями, сидит в своей затемненной квартире на Корсо Витторио Эмануэле. Его невротическая экономка тиранит его. Чтобы найти «точку», которая объяснила бы его нынешнюю ситуацию, он съедает свой таинственный шоколад. И тут возникают образы из его волнующей жизни: «дадаизм», встречи с женщинами, «жрица Сатаны» Мария Нагловская, ритуалы в Митреуме, встречи с Феллини, графом Дюркхаймом, Муссолини и студентами-«эволюманами». Воспоминания смешиваются с современностью, ситуация в квартире обостряется.*

*Автор демонстрирует свою компетентность – не только в том, что касается симптомов поперечного миелита, но и в подробностях биографии барона Эволы и обстановке римских «двадцатых».*

*Эта книга – вымышленная история, однако она вызывает к жизни миф Эволы с удручающей настойчивостью.*

*Судьба разбитого героя на горизонте античной трагедии.*

---

«Джулио, Джулио», слышит он отчаянные крики Регини, почти полностью заглушаемые громом волн, которые с дикой силой бьются о подножие скалы. И он видит, как его друг и почитаемый мастер далеко вытягивается из люка старой наблюдательной башни, сложив руки рупором у рта, чтобы перекрыть буйство стихий, он видит его бледное, искаженное лицо на уровне глаз и выражение ужаса на этом лице. «Вверх, Джулио, вверх, не вниз!»

Он старается, напрягая все силы, но не может подняться выше, наоборот, он не может даже удержаться на своем месте и чувствует, как сила тяжести медленно тянет его вниз.

Он задирает голову вверх, его глаза заклинаяще просверливают раскрытую пропасть неба. Облака подобно полчищам проносятся над ним, на самой разной высоте, причем они, постоянно изменяя свои формы, принимают то вид странных гримас, то диких зверей. «Если бы только пробилось солнце», постоянно вертится в его голове такое желание, «хоть один его луч с высот Олимпа, и я был бы спасен». Но солнца нигде не видно, дикая суматоха облаков изгнала и затенила его. Лишившись мужества, он чувствует, как он спускается вниз, все ниже к морю, как будто к ногам его подвешены гири. Когда он смотрит вниз, он видит, что девушки прицепились к ним. Каждую ногу обвили по меньшей мере трое, и все они трепыхаются, смеются и озорно визжат.

В отчаянии он пристально вглядывается в бушующее море, но там, все же, есть остров, прямо под ним. Это круглый остров из цветов, полностью и со всех сторон засыпанный цветами и плодами. Это могло бы быть спасением! Но странно, море, к которому он приближается все ближе, вдруг приобретает коричневатый цвет и пахнет теперь как кофе. Потому что – какой ужас – под покрытием из цветов выползает рука, костяная рука, и рука эта держит изящную чашку, которую она с оттопыренным пальцем погружает в кофейное море. И – его сердце хочет замереть – в этой жидкости плавают кости, глаза и ошметки тела. В этот момент женщина сбрасывает шляпу. Она обнажает свой череп, на котором приклеены только лишь несколько пучков волос. Она поворачивает свою сероватую рожу кверху, налившиеся кровью глаза, широкие ноздри, рот с острыми зубами, из которого свешивается длинный высунутый язык. И она охватывает свои вялые груди и трясет ими, поднимает высоко чашку, в которую он должен свалиться и каркает ужасным голосом: «Иди ко мне, Джулио, иди же!»

Он хочет закричать, открывает рот, но ужас превращает его горло в камень. Наконец, из глотки с трудом вырывается мучительный звук, с которым он просыпается. Его тело в поту. Действительно пахнет кофе. Невольно он издает стон. Уже целую неделю один и тот же сон, каждое утро! Это Брунелла виновата. Когда уже она, наконец, откажется от своего ужасного кофе. Или хотя бы пусть пьет его за закрытой дверью. Но она об этом не думает. Хотя он уже неоднократно напоминал ей. Вместо этого она открывает не только дверь кухни, но еще и дверь его спальни. Она делает это намеренно, чтобы эта вонь попала сюда. Она знает о мучениях, которые причиняет ему этим. Она наверняка подслушивала, услышала его крик. И теперь она довольна. Что за злобная старуха!

Бледный свет утра проникает сквозь жалюзи, бросает полосы на часть стены над дверной коробкой. С Корсо уже слышен шум часа пик, глухое шипение, из которого выделяются звуки автобусов и тяжелых грузовиков. Наверное, сейчас около восьми утра, вероятно, без четверти восемь. У него нет никакого желания подняться и посмотреть на будильник, он хочет подождать колокольный бой часов, который ему ненавистен. Тогда он сразу же поднимется, как каждое утро. До этого момента он начнет чувствовать свое тело. Первый зуд обращает на себя внимание. Неприятный как потоки муравьев, которые ползут по его ногам, вверх и вниз. В течение дня зуд от этих муравьев возрастет и перейдет в колющие или тянущие боли. Он это знает, так происходит уже давно – всегда одно и то же. Теперь у него есть уверенное чувство, что ноги – его ноги – согнуты в кровати. Но и это ему уже знакомо, это обман, фантомное ощущение, как называет это доктор. Тем не менее, он не может сдержаться, чтобы не полезть руками под простыню и не нащупать ноги, в ожидании, что они стоят прямо. Но они лежат, лежат плоские и неподвижные. Да и как могло бы быть иначе. Доносится звон колоколов Сан-Джесю, ближайшей иезуитской церкви. Он упирается кулаками рядом с верхней частью туловища и медленно садится на кровати. Потом он осторожно соскальзывает в кресло-коляску, которое стоит рядом с кроватью. На нем он катится в ванную. Умывальник установлен так, что кресло-коляска как раз помещается под ним. Так он может умываться самостоятельно, сидя, и этого ему достаточно. С бритьем он тоже справляется, хотя иногда и не без порезов. Сегодня он порезался над губой. Он задумчиво смотрит, как из тончайшей трещинки появляется капелька крови. Потом он рассматривает свое лицо. Глубокая линия ото рта до носа, утолщения на подбородке и щеках, которые всегда придавали его лицу что-то особенное. Большой нос, полный и широкий рот, с опущенными вниз уголками. Его глаза под кустистыми, темными бровями лежат глубоко в глазницах. Они смотрят на него из отражения в зеркале слабо, почти измученно. Длющиеся десятки лет нужда, боли, и изоляция создали выражение этого лица. Насколько же он усталый! Уже целую вечность, как он устал и все же продолжал идти дальше, вопреки искушению уйти самому, больше не сопротивляться, полностью сдаться. И, все же, он хочет думать, в глубине этих глаз, черных как уголь, все еще горит

ледяной огонь, ураническая энергия, которая очаровывала его окружение с давних пор, которая придавала ему господство и власть над ними. Эта мощная энергия тоже помогла ему продержаться, закончить свой труд.

Он катит свое кресло-коляску назад в спальню. Он одевается в кровати, наполовину лежа, так ему легче. Как всегда, он надевает, наконец, свой черный бархатный домашний халат. Свои чувствительные ноги он защищает шотландским пледом.

Он двигается в кабинет с роскошными книжными полками на всю стену и с письменным столом из красного дерева. Высокие, узкие окна занавешены, потому в ней полумрак. На протяжении целого дня тяжелые занавесы не открывают. На письменном столе горит лампа, свет которой освещает демонические изображения женщин. Он нарисовал их позже, в шестидесятых, спустя много лет после того, как он был еще активным художником. На столике рядом с письменным столом его ждет завтрак. Чай снова только теплый, заварка слишком слабая. Он ощупывает булочки, они слишком тверды. Как давно он не получал больше те свежие, хрустящие булочки, которые он так любит. Но он тут ничего не может изменить. Брунелла утверждает, мол, у пекаря на Корсо был только этот сорт. А ходить дальше она не хочет из-за ее больных ног. Но, все же, раньше ведь были свежие булочки. Ему кажется, что черствость булочек символизирует что-то вроде меры наказания. Иногда они такие же твердые как камни, им, как минимум, две недели. Но тогда он отказывается их принимать. Он предполагает, что у нее есть различные ящички для древних, старых и не таких старых булочек, откуда она по мере надобности их достает. Что ему делать? Он не может с ней ссориться. Пока он без удовольствия ест сухую булочку, которую раньше намазал маслом и джемом, он слышит, как она убирает спальню. Он слышит, как она бормочет, кашляет, и иногда извергает злобное хихиканье.

Эта женщина вызывает у него жуть.

Когда он закончил завтрак, он ставит поднос в прихожую. Они оба стараются встречаться как можно меньше, что вовсе не так уж просто в маленькой квартире. Но иногда у него даже возникает подозрение, что Брунелла подглядывает за ним. Что там запланировано на сегодня? Он катится к письменному столу, где лежит отрывной календарь. Итак, во второй половине дня придут его студенты, как в каждый второй вторник месяца. Ему нужно будет серьезно поговорить с ними. А завтра? Ничего. Послезавтра? Также ничего. Все больше страниц в его календаре остаются пустыми. А что еще? Там еще лежит анкета этого светского журнала». Мужчины с носом», так должна называться статья, в которой будут содержаться интервью различных знаменитых итальянцев об их частной жизни. Он еще раз мельком оглядывает имена. Рокко Граната, певец сентиментально-слащавого кича, Лучано Паваротти, модный тенор, Роберто Кальви, сомнительный банкир, его «друг»

Фредерико Феллини тоже тут, Марчелло Матростройни, естественно, «латинский любовник». Ему приходится горько рассмеяться. Какая честь принадлежать к этому сиятельному обществу. И потом еще эти вопросы:

- Каков ваш жизненный девиз?
- Есть ли у вас сексуальные фантазии? Какие?
- Что вы вообще думаете о женщинах?
- Какую позу вы предпочитаете?

И так далее, и так далее. Он ответит только на один единственный вопрос, остальные вычеркнет. Раньше он сразу выбросил бы эту бумажонку в корзину. Но уже несколько последних лет он склоняется к представлению, что нужно связываться даже и с сомнительными силами, если они предоставляют шанс дать услышать голос правды.

Итак, он хватается перо и начинает писать.

«Прежде чем мы ответим на ваш вопрос «Что вы думаете о женщинах», учтите, пожалуйста, что мы в очень малой мере настроены говорить тут о личном представлении, потому что у нас такого представления вовсе нет, но мы обязаны следовать одному лишь традиционному мировоззрению, которое может дать исчерпывающую информацию и по интересующей вас теме. Если смотреть с соображений традиции, то женщина является существом, подчиненным мужчине. Древние культуры, если они были выдающимися, единогласно утверждают, что мужчина по своей сущности относится к «расе духа» и обладает своей долей в «природе неба», тогда как женщина, в отличие от него, связана с хтоническими, связанными с землей силами, которым приписывалось не только плодородие, но и с древних времен также элемент злобы, даже ведовство или отравительство. Хотя женская сила очарования в нынешний темный век с его возрастанием эмансипации и эгоцентризма, и связанными с этим воздержанием, бастардизацией и фригидностью женщин представляет собой лишь бледную тень ее прежней могущественности, как раз сейчас, когда сексуальность рассматривается как предмет потребления и в ее гигантской медиальной инсценировке наталкивается на духовно кастрированного, полностью материализованного мужчину, угрожает новая пагубная инфляция тянущих вниз хтонических сил...».

Ему было нетрудно формулировать свои мысли. Со времен «Восстания», уже давно, они двигаются упорядоченными путями, так что ему нужно только вызвать это свое знание. Разумеется, он должен следить, чтобы написанное им не стало излишне «научным» и «многословным», этого желтая пресса не любит. Он пишет еще примерно десять минут, потом откладывает ручку. Завтра или послезавтра он еще раз прочитает текст и исправит в случае необходи-

мости. Теперь у него больше нет желания. Он чувствует внутреннее беспокойство. Да, след для него важнее. След картин, который все ближе ведет его к этой определенной точке...

Он вытягивает ящик письменного стола. Там лежит она, шоколадка, и рядом с нею лежит другая, нормальная, для маскировки. Обе открыто заметны, спрятанный шоколад возбудил бы подозрение. Он исходит из того, что Брунелла время от времени инспектирует его письменный стол. До сих пор она еще никогда не убирала эти безобидно лежащие там шоколадки. Он откидывается назад в своем кресле-коляске. Он расслабляется. Да, на «магическую цепь» еще можно положиться, она никогда не сломается. Его регулярно посещает курьер, который снабжает его вожделенным веществом...

Его пальцы отламывают от шоколадки два кусочка. Больше и не нужно, уже одного кусочка ему бы хватило. Но он хочет пойти как возможно более глубоко, туда, где сбегаются все нити. Кроме того, он тогда не чувствует боли. У шоколада немного горький вкус. Он черный, совсем не молочный.

Ему не нужно выбирать. Мысль возникает, в большинстве случаев неожиданно, иногда вдруг появляются даже две мысли, которые необязательно связаны друг с другом. Тогда возникают картины. Картины не всегда следуют за движением мыслей, в большинстве случаев они даже противоречат им. Тем не менее, именно картины здесь правы. Это они, убежден он, соответствуют самым глубоким процессам в нем.

Пестрые гирлянды развеваются по залу. Он сам украсил ими маленький театр над концертным залом Аугустео, и также развесил на веревках череп, шелковые дамские чулки и внутренности только что зарезанной коровы – добавки, которые должны пробить психологический жирный панцирь обывателей. Дадаизм – это не искусство, дадаизм – это жест и провокация. У него все это во всех подробностях стоит перед глазами: сцена, ряды зрителей, в которых сидят толстые, сонные буржуа с их женами. Они еще ничего не подозревают, они полагают, что видят один из обычных номеров кабаре, пусть даже и экстравагантного вида. У входа каждого из гостей встречали с исключительной вежливостью, чтобы вселить в них дополнительно атмосферу безопасности. Раздавали конфетки...

Пианино брэнчит мелодии Хейберта или Сати. На сцене несколько стульев. Он помнит все четко, только не может точно припомнить дату. В 1920? В 1921? Его внимание концентрируется на актерах, 3 мужчины, одна девушка. Девушкой была Ливия, напудренная еще бледнее, чем обычно, с подведенными черно-зеленым цветом глазами. Один из мужчин – он сам. Небрежно он свалился на стул, у него монокль и его напозаженные иссиня-черные волосы проблескивают в свете прожектора. На его запястье блестит цепочка, и его ногти окрашены цветом голубой крови. Он смотрит на себя со стороны, как

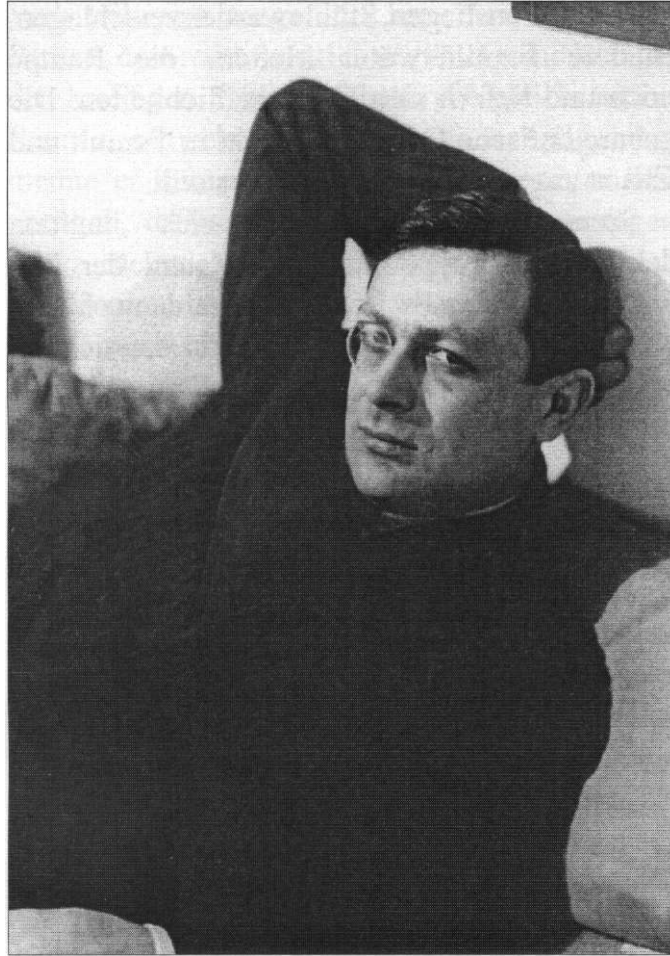
будто на чужака, у него нет глубокой связи с этим человеком, которого он рассматривает с холодной духовной ясностью. Он как раз декламирует свое стихотворение «Скрытые слова внутреннего ландшафта», которое он написал специально для этого вечера. Затем говорит Ливия, потом начинает Сильвио. Это стихотворение для четырех голосов, которое они сначала декламируют очень организованно и упорядоченно. Разумеется, при этом уже курят и пьют шампанское. За сценой раздаются первые шумы: стулья падают на спинку, стол двигается. Шумов становится все больше. Публика реагирует нервно, так как едва ли понимает доклад. Тогда актеры перебивают себя, говорят одновременно. Поэмы одновременно...

Задний занавес раскрывается. Дикая косматая орда прыгает на сцену. Крики, грохот барабанов, негритянские маски. Бум, бум, цим-тим, трабагааа... Четверка вскакивает, переворачивает стулья и столы, заикается, поет с переливами, каркает, кому как нравится. Дива в костюме с блестками бьет ангельскими крыльями, танцы в экстазе, коровьи бубенчики, резкий свист, шампанское брызжет в воздух, конфетти, маски валяются на земле. Хаос неопишем, публика полностью ошарашена.

Внезапно тишина. Все безобразие исчезло. Выступает господин во фраке, очень серьезно. Облегчение. Это как раз то, что нужно, он найдет объясняющие слова, возвратит обывателям их запятнанную честь. Но этот «господин» – лично «месье Дада», Тристан Тцара. Только никто этого не знает. Он сам его действительно хорошо знает, он ценит его.

Румынский поэт из Цюриха привел его к движению. Без Тцары, который неутомимо путешествует, дадаизм никогда, пожалуй, не добрался бы до Рима. Мужчина этот состоит только из ртути. Он маленький, но совершенно «без тормозов», и пользуется дурной славой за свою агрессивность. Он извергает свои стихотворения на немецком, на французском, на румынском, прерывает их криками, рыданием и свистом. Он полон юмора, но также и полон трюков, его остроты – это осколки гранаты, которые разрывают на куски. Он мастер жизни и языка, испорченный, непочтительный, полный ненасытного честолюбия. Он – мастер шума, который он умеет вызывать в один миг.

Несколько секунд обыватели не отводят глаз от его герметично закрытых губ. Напряжение становится невыносимым. Наконец, он раскрывает рот. «Я хочу трахнуть Папу..., я педик!» Публика застыла. Как бы для подтверждения мужчина поворачивается, высоко поднимает свой фрак, показывает всем голый зад. Теперь начинается волна возмущения. Крики, возгласы неодобрения, угрозы. Дадаисты еще подливают масла в огонь. С широко расставленными ногами они стоят на сцене, ругают и оплевывают людей.



*Тристан Тцара, настоящее имя Самуэль Розеншток (родился 16 апреля 1896 года в Монешти, Румыния, умер 24 декабря 1963 года в Париже) был французским писателем румынского происхождения (румынским евреем и членом французской компартии с 1936 по 1956 годы – прим. перев.).*

Летают вонючие бомбы, ломаются стулья. Почтенные главы семейств карабкаются на рампу и начинают рукопашную. Представление кабаре погружается в беспорядок и хаос – как раз так, как хотели дадаисты.

Смена сцены. Он видит себя посреди группы художников в помещении, которое ему очень хорошо знакомо. Это мансардная квартира Ливии на Виа Паниспема, в которой каждые две недели собираются римские дадаисты – их число всегда было скромным. На этих встречах они планируют свои «демонстрации», философствуют и представляют свои самые последние работы, картины, танцы, маски или громкое стихотворение из одних гласных звуков. Каждый приносит с собой какую-нибудь еду, но, прежде всего, вино, виски и – наркотик. Тут много пьют, много нюхают, и если кто-то где-то засыпает, в одиночку или нет, то он остается до следующего утра.

Эта сцена напоминает ему картину Де Кирико. Она представляет похожую на пластиковую фигуру, манекен с деревянной головой, погруженный в холод-



ный лунный свет. В том же неумолимом свете, резко и нереально видит он группу художников. Возможно, это было в основном связано с декорацией, которую придумала и даже частично осуществила сама Ливия: черный паркет, красная окраска потолка и стен, меловой, бледной мебели, которая, кажется, как бы парит в пространстве. В этом окружении ему всегда казалось, что пол проваливался под ним, что стены сдвигались и отодвигались как в киностудии, что комод, кушетка, стол и стулья были только макетами из папье-маше. Люди здесь всегда выглядели как куклы, их лица как маски. Однако последнее нужно было приписывать слишком активному нюханью кокаина. В первую очередь у Ливии, но также и у Пасколи и маркиза ди Лампедузы наркотик оставил свои разрушающие следы. Вот маркиз, стройный, лысый аристократ с моноклом. Его лицо неподвижно и искажено, маска привидения с темным, вырезанным в простыне забралом. Если он однажды сел на свой стул, то остается сидеть на нем неподвижно. Он не прислоняется, верхняя часть туловища кажется слишком жесткой для этого. Его предплечья и руки лежат точно параллельно на бедрах. Только если он проводит линию – каждые полчаса, по нему можно сверять часы – в нем появляется жизнь. Если он встает, он поднимается резко, автоматически. Он приходит и уходит, прыгающими, неверными шагами, как ходят люди, пораженные начинающимся параличом. Никто не знает о нем ничего, так как маркиз не говорит ни одного слова. Костюм его сношен, смят, но все же, в нем можно заметить прежнюю элегантность. Вполне возможно, что этот мужчина спит на скамейках в парке и ест из мусорных ведер. Имя: при своем первом появлении он обнажил как револьвер свою визитную карточку – маркиз Франческо ди Галлезе ди Лампедуза. Никто не ставит под сомнение его личность. Разумеется, сначала подумали, что он слабоумный, как это порой бывает у подобных ему. Но когда он продемонстрировал свое первое произведение, оценка мгновенно изменилась, он даже пожинал дифирамбы. Маркиз покрыл лист бумаги координатной сеткой квадратов, черные чернила, длина стороны точно пять сантиметров. С тех пор он каждый раз приносил новый лист в том же самом исполнении. Он был настоящим дадаистом.

И вот Ливия. Она скрючилась на кушетке, так как она уже почти подошла к концу. На меловом предмете мебелировки, посреди белых подушек, ее едва ли можно узнать. С ее лица, напоминающего Пьеро, смотрят только черные как смоль, подведенные черно-зеленым цветом глаза, ее волосы очень коротко обрезаны и напудрены белым. Ее тело, в котором можно пересчитать кости, обтянуто тесно прилегающей одеждой, производящей впечатление целлофана. Ливии – уже за тридцать, выглядит, однако, как достигшее половой зрелости существо а-ля третий пол. Она тщеславна, болезненна, порочна, прототип современной, фригидной и поэтому неутомимо ищущей смысл интеллектуалки. Из мундштука длиной как минимум тридцать сантиметров, сделанного из слоновой кости, она курит одну «мачекдонию» за другой. Тем самым она наносит своим легким последний удар. Снова и снова извивается она в приступах мучительного кашля, выплевывая кровь на свой белый ото-

роченный по краям носовой платок. Тогда можно услышать ее немного резкий, немотивированный смех. Ей осталось только лишь несколько недель. С жаром пожирающей ее болезни она бросается в омут любовных интриг и рисует. Она рисует кровавой мокротой ее разорванных легких, красные, туманно воздействующие картины на шелке, почитание смерти.

Прижавшись на полу к ногам Ливии, сидит Анжело. Он восхищается ею, и за это она гладит ему его золотую кудрявую голову. Всего лишь восемнадцатилетний юноша – это проснувшаяся к жизни статуя Аполлона. Статный и высокий, с избытком грации и силы. Его нос – прямой, рот тонко-изогнутый и женственный, с пурпурной сладостью. Его большие, всегда влажные глаза смотрят на мир так нежно, как будто бы они хотели обнять всех и каждого. Анжело – это жертва Деметры, колос хлеба, который послушно позволит сломать себя. Поэтому он также ничего не производит, он не создал еще ни одного произведения. Но также и это дадаизм.

Совсем другого формата Сильвио Фариначчи. Каждую неделю бывший футурист совершает новый славный подвиг. Техника и темп – это его боги. То он гуляет высоко в воздухе на крыле самолета, потом спрыгивает с парашютом над крышами Ватикана, потом он опять со скачущей галопом лошади прыгает в едущий рядом гоночный автомобиль. То он хвастается, что изнасиловал собственную бабушку, и в ясный день ограбил ювелирный магазин. У Фариначчи уже были бесчисленные аварии, весь он исполосован шрамами. Он носит парик из конского волоса, так как винт авиадвигателя как-то скальпировал его. Он абсолютно смел и борется со всем, что оказывается на его пути. Он живет только одним мгновением. Его художественное произведение – это сама его жизнь.

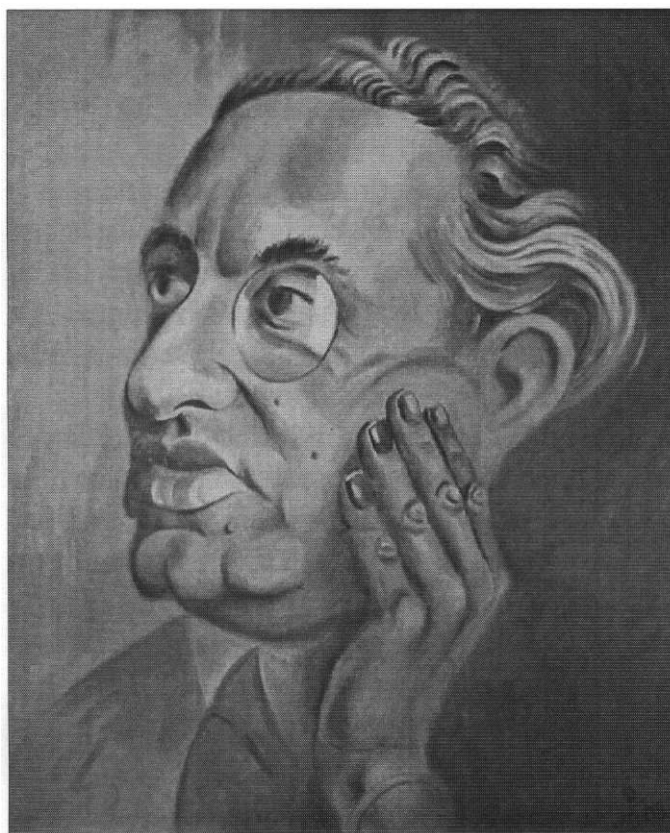
Рядом с ним сидит Мария. Она прекрасная девушка с нежными коленями, прямой походкой и целомудренно завязанными сзади в пучок волосами. Она излучает грацию и чистоту. У нее тонкий, звонкий голос и слегка направленный к небесам взгляд. Иногда ее лицо затеняется печальной улыбкой, которая, однако, ей очень к лицу. Мария всегда одета в мягкие, изысканные ткани голубого цвета. Но под ними она носит жесткое грубое полотно, в котором в некоторых местах вделаны направленные шипы. Он сам смог убедиться в этой странности. Этот подросток – самая испорченная женщина в Риме. Она рассказывает такие шутки, что стены краснеют. Ради удовольствия она работала в борделе, но ее оттуда выгнали, потому что она была слишком бесстыдной. За свои грехи она хочет наказать себя своим нижним бельем, ведь она ревностная католичка. Вероятно, она хочет наказать себя и за дадаизм тоже.

Немного в стороне от других сидит Габриэле Пасколи. Он страдает от отвращения к людям и интенсивно ищет Бога, но пока что он его не нашел. Он нашел спасение в кокаине, впрочем, он еще и морфинист. Его виски лысые и

впалые, глаза под высоким изогнутым лбом напоминают о мертвом стекле. Как всегда, он занят тем, что с помощью пинцета пытается выловить паразита, который якобы ползает под кожей его рук. Если бы так было на самом деле, у него был бы, наверное, большой успех. Еще тут сидит Марино Костетти, маленький жилистый римлянин с тонкими губами и глазами-пуговками. Его острый разум вызвал жизнь в Ничто, в бес-смыслице, исследовать которую вряд ли стоит. Он вошел в вакуум, в котором нет ни надежды, ни страха. Он раз и навсегда довольствовался этим.

Теперь его внимание охватывает его самого. Он как раз готов представить группе свою новую картину. Контуры его картины волнисты, пастельные тона доминируют. Он назвал ее «Small Table».

Он видит по его лицу и также чувствует еще как-нибудь, что он этим вечером уже воспользовался белым порошком. Он не втягивает его носом, как привычно, собственно, это ему вовсе не нужно. «Снег», так всегда казалось ему, только подтвердил его самого, как бы поставил ему памятник. Но он не принес ему ничего нового, если не считать определенных ощущений тела, как чувство холода вокруг рта и носа и желания укубить себя за губу. Духовное измерение, ясность и сила сознания, к которому это его вело, были знакомы ему.



Оливер Риттер: «Дада Эвола»

*Этот портрет 2005 года показывает Юлиуса Эволу в его фазе «денди».*

Мозг, так он чувствует это, замерзает, он раскалывается на огромное количество кристаллов льда. Над этим поднимается дух, который теперь свободно покоится в себе самом и без интереса рассматривает тысячу его отражений. Он больше не готов послушно следовать за устремляющимися вниз дорогами, которые впадают в мир самсары. Он свободен, бессмертен, всемогущ, он наслаждается своей собственной полнотой, которая неистощима. В то же время он полон презрения по отношению к требованиям повседневной жизни. Он принимает к сведению их, конечно, но он не связывается ни с чем, совсем ни с чем. Чего стоят для него все эти обязательства и соблазны, все эти существа, которые умоляют его и рабски просят, по сравнению с великолепием полярной империи, которая пылает в огне и льде! Ему знакомо, как сказано, это состояние, оно – выражение его настоящей природы и снова и снова он становился ему сопричастным: в длительной, глубокой медитации, в ритуалах и магических экспериментах. В таких звездных часах было преодолено также другое, недостаточное, разочарованное стремление, его внутренняя раздвоенность, его чувствительность и уязвимость. Он сознает, что также тогда, когда Мария сделала ее замечание, ее слова как бессильные стрелы отскочили от его сияющего панциря. Все же, он чувствует с удивлением, что они ранят его теперь, спустя десятилетия, потому что он снова погружен в сцену. «Твои картины», – сказала она, глядя на «Small Table», – «всегда выглядят как разбитые о стену яйца». Это наверняка не было умным замечанием, и он припрятал бы его, но она сказала еще кое-что, и это весило – или весит – гораздо больше. – «Ты хочешь этим выразить, как ты растрачиваешь твою сексуальность?» Естественно, она говорила это более вульгарно и при этом смеялась своим звонким девичьим голосом. У остроумно фривольного возражения был со своей стороны вопрос, который неосознанно мучил его уже тогда, который нельзя было изгнать из мыслей. «Глупец тот, кто не оберегает драгоценность своей силы», так звучит это в Хатхайо-гапрадипике.

Картины его воспоминаний катятся быстрее и становятся бледнее, все больше смешиваются с отражениями. Он снова ближе к дневному сознанию. Призрачно появляется образ маркиза. «Viva...». Правильно, этого никто не предвидел. Когда дым в мансарде становился настолько плотным, что уже окутывал каждого в вату, они открывали окна. Кто-то садился на подоконник и продолжал там курить, глядя сверху вниз на происходящее на улице. Однажды маркиз также поднялся – к удивлению всех – и уселся на подоконник. С восклицанием: «Да здравствует дада», он бросился на землю спиной вниз. Секундой позже они услышали его глухой удар.

Маркиз понял. Он был самым умным от всех.

Так как дадаизм заклинал хаос, жизнь без «рацио», без соединения, без связи. Дадаизм хотел абсолютного освобождения. Нужно было выбросить костыли, обманчивую опору и надежность в буржуазном мире! Слепец – под-

толкните его еще раз, чтобы он легче упал. Брось свою жену, брось свою любовницу, оставь свои надежды, свои страхи. Разрушайте черепа, социальную систему, искусство, мораль, крушите все, без света, без дыхания, без контроля... Но это не останавливалось на яростном «анти», «анти», помимо «против» так же страстно раздавалось «за», «за», «за»! Дадаизм был больше, чем один только анархизм, он хотел абсолютного отсутствия предпосылок, нулевой точки, которую означало лепетание ребенка «да-да». Так он освобождал смысл его акций также и в бессмысленное. Согласие и отрицание переплетались до жаркой абсурдности. «Шипите, кричите, выбейте мне зубы – к чему?» Дада был только игрой шутов, жестом гладиаторов, воздушным пузырем, который искушал себя самого. «Настоящий дадаизм против дадаизма». «Дада несерьезен», – провозгласил Тцара, – «он всюду работает для внедрения идиотизма». Дадаизм был только прикрытием. Для чего? «Дада не пахнет: он – ничто, ничто, ничто». Не каждый может вынести ничто. Все становится случайным, бессмысленным, объекты как экспонаты, за которыми больше ничего нет. Под вопрос поставлена сама жизнь, человеческое существование. «То, что божественно в нас, это пробуждение направленного против людей действия», говорил Тцара. – Против человека! Самоубийство как следствие? Для многих это было на самом деле так. Они уничтожили себя уже раньше, сдались, лишили человечности. Тогда узелок с органами тоже мог исчезнуть. Акт социальной гигиены...

Странно, после того, как маркиз бросился из окна, это место казалось заряженной магической силой. При следующей встрече это сделал Габриэле, что никого не удивило. Уже ждали того, что ряд продолжится. Кто будет на этот раз? Открытие окна к далеко зашедшему часу стало важным ритуалом.

Об этом не говорили, и делали это якобы совсем непринужденно. Все же, если ночной воздух струился внутрь и мягко комкал занавески, каждый чувствовал: теперь дада здесь, он готов увести следующего в Ничто. Почти каждый садился однажды на подоконник, курил, болтал и между прочим смотрел вниз на улицу. Тогда это либо подходило к нему, либо нет. Самоубийство приходило само по себе, без особенного решения. После того, как так же ушли Мария и другая, незначительная женщина, действие течения было уже очень сильным. Он почувствовал это как физически, так и в духовном плане, и этот опыт едва не стал для него роковым. Он сел на подоконник, курил и смотрел на пешехода, который как раз шел под ним на тротуаре. С четвертого этажа этот мужчина смотрелся странно. Он видел круглый диск, его шляпу, и он видел, как ноги с носками по очереди выступали наружу из-под края диска. Ноги выглядели как обрубки, в их движении было что-то механическое, марионеточное, как будто бы мужчина был заведенным часовым механизмом. Это было просто смешно. Так жалко двигался человек по жизни, следуя своим развлечениям и так называемым обязательствам. Как жирное пятно, по краю которого что-то болталось. И он не знал этого, он считал себя важным и незаменимым, потому что он не видел себя сверху. При этом он

был так мал и безобразен, так жалок, инвалид, ведомый его желаниями, страхами, и нерациональными импульсами движения. Глубокая подавленность напала на него, так как в этом человеке он непроизвольно узнал самого себя.

Какой толк ему от его высотных полетов, если они так быстро снова кончались, если он снова и снова опускался из олимпийских сфер и чувствовал свою плотскость? Стремление к освобождению горело в его душе, прямо-таки пожирало его. Он хотел прорыва к трансцендентности, окончательного слома уровня, вверх к вершинам, не возвращаясь при этом снова хоть когда-нибудь! Как часто уже сбрасывал он свои оковы, поднимался до все более чистых, более светлых, чистых как кристалл способов бытия, в измерении которых его обычное состояние было одним лишь глухим сном, отвратительным осквернением. Все же, снова и снова он скользил назад к своей инстинктивности, должен был начинать заново снова и снова.

Зачем штудировать восточных мастеров, мистиков, к чему исследование эзотерики у ног «Маэстро» Бейлса, к чему эксперименты с наркотиками, которые должны были воодушевлять его душу, ночные бдения, чтобы очистить дух, тайная йога, медитация, к чему альпинистские восхождения в высокогорье, которые только разжигали его тоску к тому, чего он не мог достичь? К чему все это? К чему еще трудиться, надеяться, стремиться, к чему, вообще, еще жить? Как раз разве не это была та жизнь, которая над ним насмеялась?

Карло Михельштедтер, которому он столь многим обязан, говорил, что вес никогда не удовлетворен распоркой – так же как и жизнь, которая всегда должна ощущать нехватку всего и жаждать всего, чтобы иметь право вообще называться жизнью.

Тогда также и его стремление к абсолютному было рождено только из животного духа, стремление вверх было только скрытым снижением? Сколько бы он ни жил, он не избежал бы этой шутовской игры. Сама жизнь была ценой, которую нужно было заплатить, чтобы быть свободным. Михельштедтер, его двоюродный брат, с которым он дружил, также Вайнингер, все они уплатили свою подать за право пути...

Тротуар лежал в пустоте, уличный фонарь освещал место, куда он упал бы. Источник света фонаря был окутан почти невидимым покрывалом. Это толкотня жизни, во всех своих крошечных точках жадно желающей найти смерть. Какое неповторимое желание было бы связано с тем, чтобы освободиться! Теперь он был готов. Он хотел упасть. Но было еще что-то, что держало его. Слова из буддийского канона Пали. Мгновенно он осознал их глубокоую правду. Слова эти говорили, что тот, кто считает прекращение пре-

кращением, кто думает о прекращении и радуется прекращению, на самом деле не знает прекращения.

В этот момент он узнал также скрытую правду дадаизма – и одновременно преодолел дадаизм. Раньше бездонный аспект этого образа жизни затянул его, как и всех других, в свой опасный вихрь. Но так и должно было быть. Уединенность и пустота должны были стать настолько невыносимы, что самоубийство действительно становилось подходящим шагом, даже уже было реализовано в духовном плане. Только теперь, на абсолютной точке нуля существования, могла прорваться новая жизнь, но абсолютно другая, которая была бы свободна к трансцендентности. Потеря человеческого – это еще не одухотворение. Другие из его группы промахнулись мимо точки познания, которая должна была вспыхнуть в глубине безумия. Однако он был по-новому рожден в чистоте вечно первоначального. С этим познанием, которое подарила ему ночь на Виа Пениспема, и которое с опьянением поднимало его над самим собой, он вступил в новую жизненную фазу. Теперь он мог с настоящей преданностью посвящать себя оккультным учениям – которое раньше достигали его только через голову – и алхимическому искусству, получению золота, во все более смелых, извивающихся вверх спиралях в его самой внутренней сущности.

Теперь он видит себя в светском обществе. Как охотно он бросил бы еще один взгляд на свою алхимическую лабораторию. Или, по крайней мере, увидел бы себя в писательском затворничестве! Дни и ночи, которые он почти непрерывно проводил за письменным столом, например, во время своей работы над «Абсолютным индивидуумом». Он же все-таки не шатался постоянно по трактирам. Но, по-видимому, его гений-покровитель хочет показать ему кое-что иное. Значит, так тому и быть. Он готов взять на себя свою вину.

Кафе с его старомодным интерьером, люстрой и сводом, он узнает сразу. Это «Каффе Греко» на Виа Кондотти, в котором он часто бывал. Здесь в воздухе еще носился бунтарский флер, который изливали молодые художники и литераторы в конце прошлого столетия. Они были революционерами и противниками буржуазии, при этом чувствовали свою связь со старой, латинской традицией, смесь, которая ему нравилась.

Они сидят у столика на двоих, в нише сразу за входной дверью. Если он ходит туда с женщинами, он всегда хочет обеспечить себе путь к отходу. Женщина там хихикает и болтает, как любая женщина. Только если она ест кусок своего обожженного вишневым ликером блинчика, она умолкает на один момент. Он сам довольствовался черным кофе, чтобы сохранить свою фигуру и чтобы иметь возможность уйти в любой момент. Женщина там нарядилась по обыкновенной схеме: голубой костюм, сшитый на заказ, волосы короткие, слегка вьющиеся, обесцвеченные и заново подкрашенные, под блондинку, естественно. В бровях сверкающие металлически сиркумфлексы из брильян-

тина. В глазницах фиолетовые тени, немного красной помады на губах. Краснота и бледность в точной пропорции, как по рецепту. В течение тысячелетий привычные ко лжи, женщины используют косметику как маску». Если я не накрашена, я чувствую себя как будто голой», одна подруга когда-то призналась ему. Стремление краситься, кажется ему у женщин сильнее даже, чем потребность одеваться. Он не слушает, что она болтает, он скучает. Он также больше не рассматривает ее, взгляд его бродил по залу к другим посетителям. Они тоже предлагают мало возвышенного. Почти все женщины выглядят так же, как та, которая хочет сегодня вечером к нему в постель. Естественно их трудно классифицировать: интеллектуальные стенографистки, испорченные девы, болтливые шлюшки, периодически истеричные, лесбийские неразлучницы, англичанки, столь же безвкусные как бутылка «Сан-Пеллегрино». Он нуждается в паузе и удаляется в туалет. В зеркале он внимательно рассматривает свое лицо. Теперь он видит себя как бы в двойном отражении. В картине воспоминания и в зеркальном стекле. Со времени дадаизма могло пройти один или два года. Что произошло за это время? Наряду с его оккультными и философскими исследованиями он овладел бесчисленными женщинами: худыми, очень раздражительными, толстыми, страстными, животными, аномальными, достойными уважения, сентиментальными, чистыми, грязными, итальянками из всех провинций, арабками, негритянками, китайками, и, и, и. Он пресыщен. Его глаза хмуры как замерзшая тина, рот презрительно опущен книзу, с толстых губ, на которых остался крошечный след от красной помады, струится отвращение. Его кожа лица бледная, обрюзгшая и свисает вниз, как у какой-то породы собак. Все же странно, чем больше отражается на нем его необузданная жизнь, чем более пренебрежительно он обращается с женщинами, тем более сумасшедшими становятся они. Между тем он показывает себя с самой плохой стороны. Хотя он может быть остроумным, веселым рассказчиком, он обращается с женщинами, с которыми развлекается, как с ковриком для вытирания ног. Он непредсказуемо капризен. Редко только одна наслаждается преимуществом быть с ним наедине. Большой частью он заказывает еще другую, которая прибывает позднее, и следит за их соперничеством, которое он даже еще больше раздувает. В конце он унижает их обоих, когда уходит к проституткам.

Пока он изучает – не без тайного удовлетворения – порочное лицо в зеркале, ему напрашивается еще одна картина. Он видит себя фланирующим в заливающим свете ночи на Виа Венето. Шикарный проспект с великолепными виллами, современными отелями, ресторанами и уличными кафе образует одну из часто избираемых кулис для его выступления. На нем что-то вроде гусарского мундира: красный, с блестящими пуговицами и золотыми шнурами, в придачу элегантные, очень тесные сапоги из самой тонкой кожи, начищенные так, что уличная жизнь отражается в них. В руке он держит изящный хлыст, которым бьет время от времени по сапогу, при этом он вызывающе осматривает протекающую мимо него толпу. Прямо, с прекрасной равнодушной походкой, он проходит мимо Пчелиного фонтана, мимо церкви капуци-



нов, баров и ревю, из которые гремят «бру-ха-ха» южан: гул голосов, смех, регтайм, всхлипывающие скрипки или вездесущий «Гастон». Он привык к тому, чтобы на него обращали внимание, чтобы его уважали, чтобы им любили. Господа осматривают его завистливо, смущенно, дамы бросают на него пугливые, восхищенные или жадные взгляды, даже если они под руку со своими кавалерами. Некоторые останавливаются и пристально смотрят на него широко раскрытыми глазами. Что это такое, что делает его таким неотразимым? Одна женщина после встречи с ним говорила, что ее как будто охватила чужая, зловещая энергия. Она чувствовала себя так, будто на нее напал буйный дикий зверь.

Он верит, нет, он знает, что его угрожающее излучение как-то связано с кристаллизацией сил, которая сопровождает его продвижение по магическому пути. Ему достаточно только пристально посмотреть на женщину, и электрическая цепь уже замкнута. Не просто так его называют «пауком Рима». Женщина, которая застряла в его сети, теряет свою волю, она становится послушной ему. Он стучит хлыстом, короткими рывками двигает головой – знак, что она должна следовать за ним. Затем он спокойно гуляет дальше, не оглядываясь. Он знает, что жертва прибежит за ним. Только у входной двери он снова замечает ее, когда жестом просит ее войти. Все еще без единого слова.

Он видит себя удобно сидящим в кресле, скрестив ноги. Он пьет чашку кофе, как всегда после своих походов, чтобы немного взбодриться. Прямо у двери, как будто она не решилась дышать тем же воздухом, стоит женщина и ждет. Всего час назад она еще была одним из современных, жаждущих развлечений существ, каких большой город выбрасывает сотнями тысяч. Она считала себя свободной и самостоятельной. Теперь она – только лишь женщина; готовая к зачатию, готовая к подчинению. Она повинется смыслу ее расы, которая столь же стара, как страдающая земля, как тина на морском дне. Он поражен, как точно он видит эту женщину в помещении. Она еще действительно молода, лет 25, вероятно, у нее большие, серо-голубые глаза, которые смотрят на него боязливо, почти умоляюще, с охряной пудрой (ему кажется, что он чувствует запах духов) и цвет ее маленького рта от волнения стал таким же бледным, как ее подбородок. Ее маленькое изящное тело дрожит как осиновая листва и вся она очень похожа на попавшую в петлю птицу. Он не знает это безымянное существо, он давно потерял ее в своей памяти. Вероятно, уже на следующий день после того. Но теперь он видит все отчетливее перед собой, чем тогда в его квартире. Он вспоминает о словах священника, который отвел в сторону его как ребенка после незначительного проступка: «Все засчитывается перед вечностью, ничего не пропадает, даже наши самые тайные мысли, и однажды мы найдем каждую минуту нашей жизни на чашах весов суда». Не утверждает ли то же самое современная психология? Самые маленькие тайны отражаются на мозгу как на чувствительном фотографическом диске. Они кажутся исчезнувшими, все же,

они преследуют нас скрыто и когда-нибудь они живо стоят снова перед нами. Он невольно содрогнулся.



Юлиус Эвола

*Фотография 1920-х годов. Фотограф Людвиг Фердинанд Клаусс*

«Раздевайся», бормочет он беззвучным голосом. Она расстегивает верхние пуговицы ее костюма, ее руки дрожат. «Дальше». Он наблюдает процесс раздевания с сонными, но беспристрастными глазами. Его холодная природа, его неприкосновенность, известна в Риме – и пользуется дурной славой. При взгляде на женское обаяние его никогда не охватывает волнение, он не увлекается никогда до опрометчивых действий. Когда девушка стоит в сияющей наготы перед ним, он протягивает немного руку. «Иди сюда..». Теперь приближается критическое мгновение. Его глаза и руки исследуют женское тело. Быстро, опытно и совершенно бесстрастно. Его образ действия как образ действия шеф-повара, который выбирает лучшие овощи на рынке. Он знает решающие места, критические зоны. Женщина должна наклониться, повернуться, немного поднять руку, тогда он знает все. Если он обнаружит только самый маленький недостаток, женщине придется снова уйти. Впрочем, иногда он оставляет ее, как раз из-за какого-то недостатка. Его приговор непредсказуем.

В том, что он рассматривает женщин в качестве сексуальных объектов, и обращается с ними таким же образом, есть свой смысл. Он не бесчувственен на самом деле, но он должен сохранять на свободе свой дух. Он больше не может допустить, чтобы низшие животные силы захватили власть над ним, он видел, куда это ведет. Между тем, так как он шел путем адепта, действие было бы еще гораздо более опустошительным. Его «Я» достигло характера центра и вместе с тем покоряющей силы. Подобно опоре моста оно позволяет низким аспектам жизни кружиться вокруг себя. Если бы он уступил, скопив-

шиеся силы, освободившись, напали бы на него и увлекли бы его «Я» с собой. Так, однако, в абсолютном владении самим собой, он может дать волю физическим чувствам, не позволив при этом инстинктам одолеть его. Он остается запертым в темной комнате плоти, в которой его удерживает его железная воля. Кто-то однажды упрекнул его, мол, он использовал женщин как спички. Он вынужден был с ним тайком согласиться. Он выбивал из них искру, искру желаний, потом он выбрасывал их. Он всегда следил за тем, чтобы они не оставались слишком долго в его руке...

Что ему к этой дате, когда он в своей квартире ощупывал плоть неизвестной, было еще только недостаточно понятно: то, что расщепление производит скуку. Человек или вещь, что бы это ни было, что объективируется, принимает банальный характер. Даже если это располагает самым богатым внутренним миром, это подчеркивает только безвкусьность, которая, в конечном счете, должна отталкивать. Когда женщины уходили – он никогда не оставлял их на ночь – он иногда еще долго сидит в кресле и пристально смотрит в пустоту. Он знает, что что-то должно измениться, он не может продолжать жить таким образом. Темно в нем поднимается предчувствие, что он должен поставить на карту все, чего он достиг, чтобы прийти к окончательному освобождению. Это опасный час. Его покровитель (или демон), шепнет ему имя средства, которое должно освободить его. Речь идет о яде, о котором даже самые опытные маги говорят только с дрожью и прикрывая рот рукой: коррозионная вода. (видимо, имеется в виду «алкагест» – универсальный растворитель алхимиков – прим. перев.) Эта «вода» – это явно не вода, скорее это уничтожающий все огонь. Одна из форм ее проявления – это изнурительная сексуальная сила женщины, «сосущая смерть», которая хочет поглотить более высокое бытие мужчины. Ей нужно отдаваться без оговорок. «Йога растворения» должна привести к тому, что на глубине небытия произойдет новое рождение. Как феникс из пепла мужское бытие должно снова подняться в совершенной чистоте. Растворяющая вода превратилась бы в воду жизни. Все же, будьте осторожны. Этот яд, так говорят многие, настолько радикален, что он свое «Я» не чистит, а сжигает. Он проникает в самые глубокие слои существа, так что гасит магическое бытие мужчины раз и навсегда. Выдержать коррозионную воду означает нырнуть в глубину океана, не промокнув, связать слона ниткой, или скакать верхом на тигре. Как минимум один крошечный шанс, думает он, и улыбается. В принципе, это кружится только вокруг вопроса, достаточно ли твердо ядро, сможет ли его солнечная природа сломать мрак. Какая женщина, однако, была бы достойна, чтобы он предался ей до крайнего предела? Там был бы необходимый тип, которого больше не знает современность. Он думает об определенных статуях женственных божеств: девственных, холодных, неприступных, при этом полных обещания изнурительной чувственности. Он знает только единственную женщину, которая соответствовала бы идеалу, но она была бы для него недостижима...

Когда он по прошествии долгого времени возвращается из туалета, несчастная все еще сидит за столиком рядом с выходом. Луч света освещает ее печальное выражение лица, ее глаза еще немного влажны. Наконец, все становится хорошо. После того, как он опустошил свой бокал, он высоко поднимает ее правую ногу, что она охотно позволяет ему. Немного подвыпившая. Ее одежда скользит наверх и обнажает ее икры и выше. Однако не это интересует его. Он ищет что-то особенное, оригинальное, и во времена, когда следующая моде женщина как никогда прежде исчезает как особь, это может быть только цветом подвязки: розовая, мавританская, бежевая, цвета охры, табачного цвета, султанская... Ненастоящая блондинка носит бледно-лиловые, что не удивляет его. Он обнажает свою золотую ручку и пишет свое имя на ее икре синими чернилами, причем он замечает, что царапает ей чулок и тело. Это архаичный акт вступления во владение более высоким существом, что всегда связано с болями. Жертва извергает крик желания. Однако она остается при этом ритуале, так как едва ли он остановился, входит цветочница, которая предлагает свой товар. Малышка – самое большее шестнадцати лет, бледная, растрепанная и прозрачная как китайский фарфор. У нее нет двух передних зубов. Вероятно, она живет со своими десятью братьями и сестрами в заплесневевшей квартире в подвале, и ее отец, алкоголик, насилует ее регулярно и еще избивает ее в благодарность.

«Римские розы, синьор», чирикает она пугливо. Он покупает у нее весь букет и потом передает его ей тогда с грациозным поклоном. «Могу ли я просить вас о вечере, синьорина?» Прекрасные женщины все одинаковы, только некрасивость бывает личной. Он ничего не думает о малышке, но она ему, все же, приятна. Кроме того, он ищет эффектного ухода. И тот удался ему. Обе женщины поражены до предела.

С цветочницей под руку он прогуливается неторопливо по Виа Кондотти, которая наполнена уже ночным оживлением. У малышки голые, грязные ноги, которые из-за короткого платьица выглядят еще длиннее и тоньше. При ходьбе ее повернутые внутрь колени соприкасаются, и ее слишком большие стопы подчеркивают походку свойственного периода полового созревания замешательства. На Пиацца ди Спанья он ведет ее в американский бар. Под красными бумажными фонарями сидят люди на высоких стульях и сосут через соломинку трудноопределимые жидкости. – «Ты хотела бы тоже чего-то в этом роде?» На подиуме стоит негр-джазмен, который мучит свой саксофон и делает непристойные движения. Когда он закончил, римская кокотка с господином во фраке танцует танец белой горячки. В апогее оба бросаются, полностью одетые, в ванну полную воды.

«Тебе весело?»

«Это чудесно!» Ее глаза сияют как рождественские звезды. Без единого слова он оставляет ее с ее ядовито-зеленой жидкостью и стремится к выходу.

Тут он ничего не может с собой поделаться, его отвращение сильнее его самого. У порога двери он сталкивается с группой мрачно глядящих молодых мужчин, которые все в черных рубашках. «Viva el Duce», кричит один, и он уже чувствует болезненный удар в плече. Они тут все разгромят, избьют негра и будут таскать кокотку за волосы. Должен ли он защитить цветочницу? Он не задает себе этот вопрос. Собственно, он даже рад, что эти тут «убирают», что возвращают римлянам, пусть даже и насильственно, их «потерянную честь». Он всегда был на их стороне, он был еще много радикальнее, так как франтовство было только хрупкой маской, только выражением его отчаяния в гниющем мире.

Как будто бы скрытая рука только выждала эту сцену, она сразу раскрывает новую страницу в его иллюстрированной книжке. Он видит себя в подземной штольне. Он несет факел, который бросает мерцающие светлые отблески на стенах. Они частично скалистые, частично также оштукатуренные и показывают следы живописи: лица, венок из цветов, морской конек, который, кажется, улыбается. Он не один. За ним следуют люди, топот которых вызывает запутанное эхо в лабиринте. Пол прохода, который ведет все дальше вниз, грязный и мокрый, нужно следить, чтобы не поскользнуться. Ему кажется, что он снова дышит тем влажным душным воздухом, который так тяжело бьет по легким.

Он часто ходил этим путем через лабиринт. Он простирался под земельным участком герцога Джованни Колонны ди Чезаре, который населял одну из аристократических вилл на Тибре. Герцог был антропософом, политиком, прежде всего, однако, членом группы «Ур», в журнале которой он публиковался под именем Арво. Однажды у этого человека обрушилась стена подвала. Из темноты за нею навстречу подул сквозняк, верный признак подземного сооружения. Такие открытия не являются ничем особенным в Риме, они там обычное явление. Город покоится на сплетении ущелий и проходов, которые проламываются широко сконструированными помещениями, местами погребения, роскошными дворцами и торжественными, молчаливыми храмами. Многие из сооружений были созданы уже в античности как «подземный город», другие части становились подземными только после засыпания руинами или тысячелетними отложениями. Однако, открытие герцога стояло под особенной звездой, так как ему открылся Митреум, культовое место, лучше которого для целей группы нельзя было и придумать.

Молчание. Двенадцать укутанных в рясы мужчин сидят неподвижно на мраморных плитах святыни. В свете двух факелов они образуют закрытый круг, цепь. Простота – простые боковые стены, которые переходят в свод, оживляются только двумя стоящими напротив друг друга каменными столами, которые твердо замурованы с ними. Рядом с входом также замурованный кувшин, который содержит освященную воду. На другой стороне входа ванна, в которую стекала кровь быка. Святость – В торце вытянутого зала большой

низкий рельеф: Митра с развевающимся плащом, как он убивает быка, окруженный по сторонам Солнцем и Луной. Внизу скорпион и змея, нечистые животные, которые хотят отравить источник жизни, кровь быка. Только если сила стихии «фиксируется» именем Солнца, поднимается горячая, кружащаяся, божественная жизнь, которая создает «сияющее тело». Если человеческое бытие не очищено во всех аспектах, движение вверх превращается в ужасное падение...

Концентрация – перед рельефом чашечка для благовоний, из которой поднимаются ароматы ладана и мирры. Каждый погружался в себя, самостоятельный, в себе самом основанном индивидуум. Одновременно он в силу своего внутреннего выравнивания с другими приходит в гармоничное соответствие. Состояние симпатии, связанности в общем духе. Повторные встречи согласовывали звенья цепи все больше одно с другим и сварили из них «борющееся войско». Объединение, также и с помощью силового поля традиции.

Цепь благодаря покровителям отдельных членов сцепляется с древними инициатическими цепями в сердце Лациума. Речь идет о представителях римского патрициата, хранителях определенных тайн. Арво во владении сакральными предметами, которые передаются в фазе подготовки из рук в руки. Этрусский бронзовый топор, меч из пещеры Митры, золотой сосуд... Эти предметы для знающего не просто предметы, а светящиеся силы, которые путем бесчисленных эвокаций погрузились в материю. Знание эфирного света означает распознавать знаки и подписи: Свет – жизнь, дух – материя. Сама святыня – это непревзойденный знак, триумфальный символ. Здесь согласие всего, здесь свет, величие, здесь духовность стала скалой, а скала провозвестником духовного. Путь Митры – это путь действия, солнечного воплощения. Митра, божественное дитя, освобождается из связанной с Землей тупости и размахивает своим факелом. Не является ли он символом также героического римлянства, античной империи, которая хочет возникнуть в сияющем новом блеске? Юлиан, один из самых достойных из римских императоров, был торжественно посвящен в мистерии Митры. Силой, которую он своим еще теряющим силу голосом призвал на поле сражения, был Гелиос-солнце, как сила, идущая «сверху», как духовный символ. Юлиан самого себя считал отображением Солнца – и поддерживал таким образом традицию божественных властителей, единственную, которая делает империю славной, метафизической реальностью. Вечный Рим! Здесь внизу еще билось сердце, в темных, скрытых помещениях стучала мощная жизнь. Что значило уже варварство модерна? Ничто иное как тонкая, хрупкая кожа, натянутая над тысячелетиями мощной традиции. Нужно выбить из земли огонь, который был еще жив. Условия для этого были неплохи. Муссолини сам вышел из магически-сакрального направления, он страстно выступал за возрождение античной империи. Нужно было только скорректировать направление, мощным духовным актом направить вверх фашистское течение, которое слишком

сильно тонуло в низинах государства, партии и буржуазии, чтобы дошло до сакральной королевской власти...



*Современное изображение римского Митреума*

Все возвышенные государственные руководители знали об определенной тайне: для выполнения своих целей они пользовались не своими силами и разумом, а заклинали силы верхнего мира, с которыми они объединялись. Их победы в меньшей степени зависели от собственного умения и материальных издержек, чем от способности заручиться помощью духовных властей. «Создание» и привлечение духа наряду с работой одиночки над самим собой было особенным стремлением группы...

Он видит себя сидящим в кругу, как руководитель, глядя на восток. Ритуал отработан. Больше не требуется ни слова. Пробуждение зажигает пробужде-

ние. В руках он держит два жезла, удар ими друг о друга обозначают фазы творения – жесткие, строгие и категоричные приказы.

Поток энергии начинает циркулировать, становится быстрее и сильнее. Он питается психическим материалом, эмоциями участников, их волей и их тотальной преданностью. Светящиеся силы снаружи пробиваются внутрь, боги, символы, славные силы. Над кругом стоит ночное солнце, духовный противоположный полюс. Вихрь тока флюидов становится настолько увлекающим, что он приводит мужчин в транс. Они едва в состоянии выдержать его напряжение. Это решающее мгновение. Теперь он извергает крик. Внезапно группа хлещет из себя последнее, взметает массу флюидов вверх, по воображаемой линии к духовному солнцу. Сначала связь души и духа, которая должна была произвести флуидальное существо, была еще слаба. Постепенно, однако, над цепью появилось нечто, похожее на самостоятельную жизнь: сначала ветерок, потом облако, которое спокойно двигалось по помещению и излучало достоинство. Теперь нужно было предпринять последний, очень деликатный шаг. Задача была в том, чтобы связать психически-духовное «тело» с несущей субстанцией, с человеком, который был бы достаточно могущественен, чтобы воплотить дух античной империи в реальности. Это мог быть, естественно, только Муссолини. В середине круга установили его большой портрет. Если существо было воплощено – что всегда удавалось без труда – они представляли себе луч света, который вел сверху к портрету Дуче. Затем духу приказывали спуститься по линии, чтобы насытить Дуче своей субстанцией. Ему приказывали – только он не повиновался. Как бы сильно группа в него не проникала, он самое большее наполовину – и то только неохотно – спускался по этой дороге вниз, потом он отклонялся и убегал в сторону.

Процедура становилась все безнадежнее, кроме того, все более рискованной. Ибо дух становился сильнее, а это значило, что он также становился все более своевольным. Наконец, его больше не требовалось даже и вызывать, он уже сам ждал группу, причем с нетерпением. Как только участники позволяли вращать свои образы и эмоции, он бросался на их флюид. Он прямо-таки рвал его к себе, так что некоторые чувствовали жгучую боль в районе селезенки. Все без исключения чувствовали себя истощенными после собрания, некоторые даже заболели. Дух, стало быть, добывал себе добычу. Он брал себе массу флюидов и спешил с нею, как можно было наблюдать, через расщелины и щели скалистой палаты в подземное царство. Он вел эту массу флюидов к мертвецам, которые, однако, еще жили. Это было настоящей причиной, о которой никогда не говорили, того, что группа «Ур» распалась.

Да, эта сцена уже часто приходила к нему. Его первая встреча с Муссолини. Швейцар впускает его в зал Палаццо Венеция, Скала дель Маппамондо. Перед ним простиралось помещение, такое большое и пустое, как покинутый храм. Зеркально чистый паркет как замерзшее озеро. Сквозь его середину



идет красная дорожка, которая ведет к стоящему очень далеко позади большому письменному столу. За письменным столом из тени видна колючая пара глаз. Двадцать один метр, позволил он сказать самому себе. Многие посетители выбиваются из сил уже при этом «прохождении через шпицрутены» к диктатору. Естественно, он не теряет самообладания, идет целеустремленно, но без поспешности. При этом ему в глаза бросается изменение освещения. Как знает каждый, у Дуче возле его письменного стола есть электрощит переключения с разными кнопками. Он обслуживает их как театральные осветители. Чем более незначителен посетитель, тем более приглушен свет. При его вхождении не было особенно светло. Однако, тогда он замечает, и не без удовлетворения, что свет становится все ярче. Его уверенность в себе, очевидно, производит впечатление. Незадолго до цели, однако, яркость снова убавляется. Почему так?

Теперь он подходит к гигантскому столу из палисандрового дерева. Так как этот стол стоит на возвышении, он едва ли может видеть что-то больше, кроме блестящего черепа властителя Италии. На нем глаза, как огни, которые, кажется, совершенно неподвижно пронзают его. Никакого стула нет. Не ожидает ли сын кузнеца, что он, аристократ, будет перед ним переминаться с ноги на ногу? Так же неподвижно, как и тот, он уставился на своего визави. Взгляды двух гигантов воли меряются силами.

Наконец, Муссолини встает, его лоб покрыт потом. Впрочем, тут действительно жарко. Только теперь он отвешивает перед диктатором краткий, но все же безупречный поклон. – Ваше превосходительство, – можно услышать его, – я беспокоюсь о фашизме. Святой идее империи угрожает опасность погибнуть в низинах модернизма.

- Я беспокоюсь о вас, барон, – говорит Муссолини глубоким голосом. – Высокопоставленные члены нашей партии, похоже, постоянно неправильно вас понимают. Вам уже неоднократно указывали на то, что ваши публицистические высказывания – это публичный скандал. Тем не менее, вы не прекратили ваши атаки на правительство, а наоборот – даже усилили их. Я, который читает все, читал и некоторые ваши статьи, в том числе, те, которые были опубликованы в антифашистской газете «Ла Критика». И я тоже должен вас спросить: вы на самом деле хотите бороться против фашизма, вы антифашист?

- Как раз наоборот, Ваше превосходительство. Если вы прочитали мои работы, то вы знаете, насколько новое рождение империи близко моему сердцу. Я не антифашист, но скорее суперфашист, я хотел бы, чтобы фашизм стал еще гораздо более радикальным и более смелым. Я хочу, чтобы он в силе и страстном жаре горел ради имперской власти!

– То есть, мы, по вашему мнению, делаем слишком мало, мы, которые держим в руках всю власть? Мне на самом деле вовсе не требуется, барон, защищать нашу политику от вас. Однако я хотел бы обратить ваше внимание на то, что Италия, с тех пор, как мы у власти, из своего прежнего призрачного существования вступила в центр мировой политики. Такие страны, как Англия и Соединенные Штаты добиваются нашего расположения. Блеск первой римской империи возвратился, теперь люди со всего света удивляются нашим чудесным дворцам. Внутриполитические противники, как коммунисты, масоны и члены профсоюза разбиты, государственный аппарат почищен. Жизнь стала безопасной. Мафия побеждена, преступность искоренена, мы закрыли двадцать пять тысяч трактиров. Мы создали специальную полицию для регионов и политические розыскные бюро. Люди получили свою долю от этого прогресса. В течение только десяти лет построено четыреста новых мостов, новые дороги общей длиной почти 6500 км, огромные акведуки. Проложено шестьсот новых телефонных линий. Теперь все поезда движутся точно по расписанию и едут значительно быстрее. Воздушное пространство покорено. Итальянские лайнеры бороздят океаны. Природа покорена. Пустыри пробуждены к жизни, осушены Понтийские болота, чего не удалось даже Цезарю. Наша страна стала автаркической, урожаи пшеницы всего за восемь лет удвоились до семи миллионов тонн. Никому из итальянцев не приходится голодать, никто не мерзнет. Теперь все семьи ведут гарантированный, счастливый образ жизни. Радио, кино, современное искусство, спортивные соревнования, каждый может участвовать. Увеличены зарплаты, введен восьмичасовой рабочий день. Семьи с детьми получают, к примеру, льготы, чтобы мы стали сильным и могущественным народом. Уход за матерями, 1700 летних лагерей для городских детей. Безработные, старые и больные люди получают государственную поддержку. Сверх всего этого изобилия, я забочусь о каждом отдельном человеке нашего народа. Каждый может прийти ко мне. С утра до вечера я непрерывно принимаю людей, у которых есть личная необходимость, запутаны в юридических спорах, или просто хотят увидеть меня. Двенадцатилетний мальчик из Мерано пробежал босиком более семисот километров, только для того, чтобы подать мне свою маленькую грязную руку. И тут вы говорите, что я делаю слишком мало?



*«Дуче» («Вождь») Бенито Муссолини (родился 29 июля 1883 года;  
убит 28 апреля 1945 года коммунистическими партизанами).*

- Ваше Превосходительство, этого я никогда не решился бы утверждать. Но, вероятно, многое делается не с того конца, и важное упускается из виду. Во многих ваших речах вы сами подчеркивали, что духовная ценность должна вернуться. Только с этой точки зрения я позволяю себе говорить, что фашизм еще недостаточно радикален, что он, собственно говоря, пока еще не

преступил решающий порог. Что изменилось все же в общественном устройстве? Фашизм только утвердил старые структуры и даже еще больше укрепил господство буржуазии. Также власть католической церкви осталась неприкосновенной. Однако как раз это и есть те силы, которые предотвращают настоящую духовную революцию и вместе с тем идеал новой римской империи. Что касается церкви, то она разбавляет любое духовное возвышение и разрушает его в лунной сентиментальности. Церковь должна быть упразднена. Влияние буржуазии так же пагубно. Буржуа, с тех пор как он пришел к власти на Западе, разрушил все духовные ценности. Для него имеет значение только материальная прибыль, единственное его действие – это торговля. Экономика, внушил он нам, – это наша судьба. Созданная буржуа цивилизация модерна знает только ценности спекуляции, комфорта, благосостояния. Не качество, а количество – вот ее мерило, причем во всех областях. Дух буржуазии выражается в бюрократическом управлении. Вы согласитесь, Ваше Превосходительство, что как раз благодаря учреждению коопераций бюрократизм дошел в этом государстве до угрожающих форм.

Все это время Дуче держал свои руки как орудие скрещенными на груди, его подбородок был воинственно задран кверху. Теперь он изменяет свою позу, вытащив носовой платок и громко в него высморкавшись.

Затем он отвечает сердитым голосом:

- Именно церковь и буржуазия – это несущие колонны государства. Если бы мы захотели убрать их, мы столкнули бы нашу страну в страшный хаос, который сразу разрушил бы все наши достижения. Мы не можем переделать государство за один день. Старые гегемонии и центры силы можно изменять только с крайней осторожностью. Мне самому буржуазия также не приятна. Я никогда не забуду, как я, каменщик с оборванными ботинками и урчащим от голода животом должен был сто двадцать один раз в день нагружать тачку кирпичами. И напротив стройплощадки был аристократический ресторан, и все эти набившие брюхо свиньи сидели на террасе, и ели и пили. Но я хотел бы послушать вас дальше. Какой же класс должен все же, по вашему мнению, управлять фашистским государством?

- Я говорил бы не столько об определенных классах, сколько об элите. Однако она формировалась бы из аристократического слоя. Только здесь еще есть знание о духовных ценностях, которые образуют основу сакральной империи. Фашизму нужны душа и дух, Ваше Превосходительство. В его современном состоянии у него есть материальная сила, которая, однако, не даст ему результатов на длительный срок. Даже самая могущественная организация преходящая, если у нее нет метафизической ориентации. Она запутается в борьбе и заботах о чистом отстаивании своих прав и, в конечном счете, истощится из-за этого. Принцип и основа фашистского государства должен быть живым организмом, покоящимся в самом себе, неприкосновенным су-

ществом, состоящим из духа, души и тела. У нас есть образец в античном Риме. Рим был одновременно материальной и духовной властью, культурным творением, у которого были свои символы и ритуалы, свои полубоги, свои божественные короли. Да, восстановление Рима должно идти также наряду с установлением истинной, это значит – сакральной монархии. Только подобный Богу властитель в состоянии связать силы и излучать свет духа через всю политическую иерархию вплоть до самых дальних зон империи. Он может подняться надо всем, что создали кровь и почва, славно, олимпийски, как возвышающаяся в небо гора, которую в ее возвышенном спокойствии не могут омрачить все проходящие мимо тучи.

Дуче внимательно слушал, его лицо выглядит задумчивым. – Ваши идеи звучат неплохо, барон, но как, однако, нужно осуществить их? Если бы вы знали, сколько политических преград оказывается у нас на пути, которые делают даже только приблизительное воплощение ваших идей практически невозможным.

- Речь не идет о превращении, Ваше Превосходительство. Стоит лишь коснуться воплощения в чисто материальном смысле, игра уже проиграна. Экономика, управление, союзы по интересам – какой толк с этой низкой толкотни? Только никакой приспособляемости, никакого компромисса с людьми. Порядок просто должен быть установлен, в свободном и духовном акте. Тогда все проблемы исчезнут сами собой. Разумеется, нужно иметь в виду, что внутреннее преобразование должно произойти до внешнего. Поэтому наилучших людей государства нужно собрать, чтобы они как мудрецы Платона воспитали, подготовили «нового человека». Элита, орден мог бы иметь магнетическое воздействие. Если вы следили за учреждением духовной группы, я бы с моим опытом в этой области отдал бы себя в Ваше распоряжение...

- Превосходно, барон. Мы с удовольствием еще раз занялись бы этой темой. Но теперь, к сожалению, мне придется окончить нашу беседу, мне нужно еще заняться целым рядом важных дел.

Еще несколько раз ему представлялся шанс побеседовать с Дуче. Тот каждый раз слушал его внимательно. Уже на второй беседе он предложил ему стул, это было чествованием, которое обычно доставалось только высокопоставленным лицам. И, тем не менее, у него всегда было чувство, что Дуче уклонялся в решающем пункте беседы. И именно тогда, когда в разговоре появлялось что-то обязывающее для него. Ему вспомнилось поведение заклинаемого много лет раньше «духа», который спускался только наполовину к Муссолини, но потом срочно поворачивал назад. Только в самом конце, когда он

встретил Дуче после его освобождения в Растенбурге<sup>1</sup>, когда тот уже наполовину избавился от земных забот, Муссолини, кажется, был уже открыт для всего.

Но уже поздно, слишком поздно...

Снова и снова он спрашивал себя, почему он так мало смог сделать в политическом отношении. В официальном фашизме он всегда оставался аутсайдером: его высмеивали, критиковали и смотрели на него с недоверием. Только очень маленькие маргинальные группы время от времени милостиво прислушивались к нему, например, «Scou Mistika», «таинственная школа» фашизма, которая смогла реализовать некоторые из его идей. Не утало ли его что-то вниз? Не оказался ли он слишком ослабленным в решающей точке своей внутренней сущности?

И вот она снова здесь, история, которая преследует его давно и каждый раз открывает свои новые, спорные детали. При этом он все еще не в состоянии ответить, на самом ли деле потерпел он неудачу. Вероятно, он просто слишком много вкладывал в это дело? И это всегда начинается с того, как зубы из слоновой кости обнажаются в сияющей улыбке. «Хорошо вам повеселиться, синьор», желает ему черная служанка, открывая дверь перед ним. Женские покои залиты неземным светом. Светом сияющей полной Луны, которая как Солнце стоит у большого, наполовину открытого окна. Контуры деревьев расплываются снаружи с портьерами, кроватью с балдахином и тканью, сливаясь в единственную дрожащую реку, которая играет также вокруг фигуры, которая в неподвижном величии сидит на полу. Ее тончайшее неглиже как будто расшито серебром; колышущаяся пена наверху над мраморным телом с великолепными твердыми грудями, которые наполовину обнажены. Женщина сидит на шкурках тигра, ее лицо вплоть до глаз скрыто за платком, как его носят жительницы Востока. Что за женщина! Никогда еще не видел он ее в этом образе, хотя знает ее уже с давних пор – Мария Нагловская, «жрица сатаны», русская княгиня, полная необъяснимых загадок. Она вращается в лучших кругах Рима. Она состоятельна, она пленительна, мир мужчин поклоняется ей, хотя она никогда еще не снимала свою вуаль и ее возраст трудно определить. Все же, ее черные, магнитные глаза излучают опасное обаяние. Принадлежала ли она хоть одному мужчине? Никто не знает. На что она живет? Никто не может этого сказать. Она – не только великолепная дама и очаровательная сплетница, она – также чудо интеллекта. Она владеет различными языками и науками с шутиливой невозмутимостью и даже в тайны магии – как говорят – она проникла до самых глубин. Как раз этому своему особенному пристрастию к оккультному она обязана своей славой жрицы са-

---

<sup>1</sup> Имеется в виду освобождение Муссолини группой немецких парашютистов под командованием Отто Скорцени 12 сентября 1943 года.

таны. Ее прошлое окутано абсолютным мраком. Поговаривают, что до того, как она приехала в Рим, она якобы устраивала в Париже «черные мессы». Определенные люди хотят узнать в ней исполнительницу танцев живота Ай-шу, которая много лет тому назад путешествовала по Европе. Другие предполагают ее связь с хасидами. Старый римлянин, бывший офицер и таким образом, стоящий выше всяких подозрений, утверждал уверенно и твердо, что она была жрицей любви в египетском храме, в который его в давние времена влекла его дерзкая молодость. Однако тогда ей было бы минимум семьдесят лет. Он сам познакомился с нею благодаря общим литературным амбициям. В ее эзотерическом журнале «La fleche» («Стрела») он опубликовал статью, за которую она в свою очередь вознаградила его статьей в его журнале. Она перевела также различные его стихотворения на французский язык. Их связь всегда сохраняла дружественно-отдаленный характер, все же, он знал, что она не была женщиной, которую можно было завоевать одним махом. Она была «властью», как и он, и это вызывало у него уважение и сдержанность. Но потом она неожиданно пригласила его. На ночное свидание на ее вилле Тачитурна на городской окраине. Это однозначное приглашение к «поединку», которое могла позволить себе только такая женщина как она, в один момент лишило его хладнокровия.

Небрежно она подает ему свою нежную, маленькую руку, руку ребенка. Он слегка целует ее. «Садитесь, мой друг».

Ее глаза охватывают его величественно, спокойно и великолепно как глаза сфинкса. Она указывает ему на тигровую шкуру возле себя. Вся его привычность покинула его, он чувствует себя как школьник во время его первого любовного приключения. Это немного сердит его. – Я не мог позволить себе даже мечтать о том, чтобы вы приняли меня таким образом, – слышит он свое бормотание.

Она пожимает плечами. – Вы искали меня, и я нашла вас, вот и все, – молчание. Сквозняк дует через открытое окно, наполненный ароматом цветов. В саду заливаются соловей. Серебристо вибрируют контуры ее тела, сладкий аромат которого окружает его лестью. Он знает: теперь наступил «час живого дыма», как это называет восточная сексуальная магия, час, в который все решается. Эта женщина опасна. Она – не только женщина в полном смысле этого слова, но и знающая, посвященная. Ее работы свидетельствуют, что она знает о демонической силе, с которой женщина может поглощать сверхъестественное бытие мужчины. Все же, как раз ее нападение могло бы дать ценный шанс прокатиться верхом на «тигре», и вместе с тем утвердить свой собственный элемент в совершенстве. Разве не искал он столь долго как раз такую женщину, он, который так сильно любит опасность?

Медленно она откидывает назад покрывало с ее лица. Но это же невозможно, пронзает его мысль. Этот пухлый сладкий рот, этот носик. Мария Нагловская

неслыханно молода, едва ли старше двадцати лет. Она уставилась на него бездонными глазами. Теперь ее голос звучит иначе, очень мягко и глубоко: – Этой ночью я в твоём распоряжении, Джулио. Пользуйся мною, но будь осторожен.

Без остановки она переходит к веселой болтовне: – Не хотите ли немного перекусить, барон? Он думает о напоминании, что нужно быть трезвым, если начинаете творение с молодой девушкой.

Однако, может ли он отказаться, не показавшись при этом боязливым, да еще и невежливым? Она при этом уже достает чашечку, в которой плавает что-то вроде фруктов. Она делит это очень острым ножиком. – Теперь у нас есть кровавая земляника, – болтает она по-детски. Он поражен. Он понимает, что она намекает вместе с тем на ее менструацию. «Menstruum» – в герменевтике это синоним коррозивной воды. У всех народов Земли менструирующих женщин не допускали к сношениям. Также он всегда избегал их, вопреки всему разврату. Теперь она из сосуда выливает на плоды бесцветную жидкость. Поднимается резкий, пронизывающий запах. Смешивая все это, княгиня с захватывающей грацией спрашивает его: – Вы же любите фрукты в эфире? Он никогда еще не пробовал эфир. И не зря, ибо эфир затуманивает чувства, человек погружается в эротическое безумие и хочет только лишь умереть.

Однако, можно ли ответить прекрасной женщине: «Нет, фрукты в эфире мне не нравятся?» Едва ли. Потому он говорит с долей цинизма: – Да, княгиня, я без ума от этого – и доверяет своему более высокому «Я»...

Она нежными маленькими пальцами засовывает ему в рот кусок пагубного плода. – Таким вы мне нравитесь. Еще один! Он чувствует, как через его органы чувств яд проникает ему в мозг. Мягкий туман укутывает его. Одновременно он видит со стороны самого себя, стоящего рядом с собой, он может наблюдать за собой, контролировать себя. Так он позволяет своему телу чувствовать великолепное наслаждение, которое охватывает его, когда он погружает лицо в колышущиеся, душистые груди женщины, разрывает шелковую одежду как в бреду, и покрывает ее трепетную плоть поцелуями.

Расплывающимся взглядом он видит белое, извивающееся как змея, тело на тигровой шкуре. Там уже лежит не человек, не женщина, там вытягивается животное, прасущество, и из этого существа его внезапно охватывает бездна, перед которой он содрогается в страхе. Она прижала свой рот к его уху. – «И глупая бабочка порхает в твоей близости: Не крылья будут гореть, а душа» – Ты знаешь это стихотворение? – Оно мое, шепчет он ошеломленно, и: – Да, дай моей душе гореть. – Тогда возьми еще кусок. Она подает ему землянику. – Нельзя, – испуганно отвечает он, – тогда я полностью потеряюсь. Она смотрит на него удивленно. – Ты как раз и должен сделать это,



Джулио, твои стены слишком толсты, так я не смогу добраться до тебя. – И это должно быть все же именно так? – Ты должен умереть, Джулио, – сказала она серьезно. – Из окна выпрыгнуть может каждый, но умереть – это кое-что иное. Ты прошел много битв, но еще никогда не хватался за кинжал для убийства своего «Я». Только если ты полностью исчезнешь во мне, ты сможешь по-новому родиться в силе и великолепии. Тебе не нужно ничего бояться, – продолжала она, – мы, женщины, сильны лишь ровно настолько, насколько слабы вы, мужчины. Мы всегда только то, что вы, мужчины, видите в нас: блудницу и святую, ангела и демона. На самом деле мы ничто, и все же, мы всё. Мы в вас. Со времен существования человечества мы прижимаем ваше лицо в пыль, ибо наша нога стоит на вашем затылке. Но это только потому, что вы сами хотите этого. – Итак, ты хочешь еще кусочек? – Ты черт, – вырывается из него. – Да, – говорит она просто. Отчаянно он рвет чашечку из ее рук и выливает все ее содержимое в себя. «Либо я есть, либо меня нет», думает он мрачно, «в первом случае я буду бороться, и буду побеждать». Испуганно она всматривается в него. – Что за мужчина, – шепчет она тихо и поворачивает к нему свое лицо. С раскаленной страстью он целует ее в рот – нет, это она целует его, так дико и так немилосердно, как будто бы она хотела убить его. Уже он чувствует, как ее сосущие губы ищут дорогу к его мужской силе. Истощающий обман охватывает его, страстное желание определенных животных, которые в их объединении с женским находят свой наивысший экстаз, находят смерть. – Постарайся остаться сухим, – слышит он ее шутивную угрозу из далекой дали. О, как хорошо она все знает.



*Мария Нагловская, в Европе известна как Мария де Нагловска (родилась 15 августа 1883 года в Санкт-Петербурге; умерла 17 апреля 1936 года в Париже, по другим данным – в Цюрихе), была по ее собственным словам княжной кавказского происхождения, родилась якобы в Карпатах и была знакома с Распутиным. Среди прочего, она прославилась своими двумя произведениями «Тайны пола» и «Тайна повешения». Кроме того, она издавала ежемесячный журнал о магии под названием «Стрела» (La Fleche»). Она поселилась в Монпарнасе, где при Нотр-Дам-де-Шан развился оккультный центр.*

«Не позволяй твоей святой силе превратиться в смертоносную жидкость», сообщается в тантрическом тексте. Или также: «Только проникать, но не отдавать». Или: «Кто проникает сильно и выводит обратно слабо, тот погибнет». По крайней мере, моя память еще функционирует, думает он с удовлетворением. Но потом мир проваливается. Ему кажется, как будто его бьет теплая морская волна, делает его тело бесчувственным и уносит его самое сокровенное далеко, очень далеко.

Когда он открывает глаза, он лежит на цветочном лугу с роскошным великолепием. Воздух настолько тяжел и влажен, что он образует туман и погружает все в молочное мерцание. Травы, цветы, кусты и камни расплываются в очаровательном аромате, так что одно производит другое и снова отпускает. Его взгляд падает на каплю росы на листе розового куста. Также и здесь движение, капля – это мир в маленьком, в котором кишит бесчисленными индивидуумами. И воздушная дымка тоже населена, он обнаруживает, что она состоит из субстанции миллионов и миллионов духов, которые спешат туда и сюда. Между пучками травы он находит крохотные ямки; похожие на эльфов фигуры появляются оттуда и кружатся, держа друг друга за руки, в веселых танцах. Куда бы он ни посмотрел, всюду толпится неистощимая жизнь, все – танец и пульсирующая энергия. Тут из тумана раздается благосклонный женский голос.

«Добро пожаловать в мое царство, гордый сын Солнца! Я всё, прошлое, настоящее и будущее. Я – материнское лоно всего становления, плод, который породил сам себя. Ты хочешь противопоставить мне себя как самостоятельное существо?»

Жалкий глупец. Загордится ли волна, озаренная лунным светом, потому что она на одно мгновение засверкает более живым светом? Одна волна такая же, как другая. Все прибывают от меня и возвращаются ко мне. Ты хочешь убежать от меня? Напрасно, ты не сможешь. Ты как я, и я как ты. Твое биение пульса бьется только в моем ритме. Ты должен расти и уйти как я, ты должен жить, умереть и дать новую жизнь в смерти. Это твой жребий, солнечное дитя, не противься этому, это тебе никак не поможет. Я – твоя мать, вечная, бесконечная и неизменная. Я – правда, я – жизнь. Я ничего не знаю о твоём гордом стремлении, твоя жизнь и смерть мне безразличны. Ты – только беглая тень, отбрасываемая мною. Тень, как и мои другие дети. Раньше или позже вы все возвращаетесь ко мне. Потому учись покоряться моим законам. Учись быть скромным в кругу твоих братьев и сестер, терпеливым и покорным. Пойми, что ты – раб, животное, которое должно идти в ярме. И не сетуй на это, так как мое ярмо легкое. Если ты устал, ты возвратишься ко мне. Ты найдешь спокойствие после короткого мучения, и когда ты укрепиться, то проснешься к новой весне. Все в этом мире – изменение: проклевывающиеся яйца и ползущий младенец, распадающиеся в земле трупы и заново возникающая жизнь из болота и тины. Всюду матери и младен-

цы, рожденные, растущие, изменяющиеся, питающие и питаемые, убивающие и снова умирающие. Однако все продолжает жить во мне, принадлежит ко мне, и таким образом я живу также в смерти и вечна в исчезновении. Пойми меня, тогда ты больше не будешь бояться меня, не будешь больше меня обвинять, меня, твою мать».

Голос умолкает и остается глубокая, печальная тишина. Тень, кажется, как раз падает на еще ясную землю, прохладный ветерок касается его. Воздух, как он с дрожью воспринимает, – это волна ядовитых маленьких зверьков, которые все время ролят новых зверьков. Он вдыхал их все время. Он смотрит на себя самого и видит, что в его артериях ползут какие-то существа размером с пылинку, ужасные чудовища, которые вытягивают свое питание из его медленного упадка. Тут земля уносится прочь из-под его ног. Перед ним пропасть, белое Ничто. За этим другой берег. Циферблат часов – огромный, нарисованный на небе как радуга. Только одна стрелка, в самом низу, на цифре «6» – всемирные часы, их самая низшая фаза.

Понимание и действие – это единое. Он понимает, что женственное поглотило его. Он – «повешенный», «жертва». Стрелка часов сразу продвинется вперед. Но не на одну минуты, а по всей дуге вверх, к отметке «12» или, скорее: к нулю. Теперь он стоит в пропасти. Если он не участвует в скачке, которая предвещает всемирное развитие, он потерян, умрет. Если он присоединится, он распахнет врата смерти, получит долю участия в вечной жизни. Это «укус гадюки», мгновенный, радикальный, не оставляющий времени чтобы «отреагировать». Он должен быть быстрее чем тень, то есть, чем тот старый человек, которого он должен оставить теперь. Это осознание – это не результат размышлений, а непосредственное познание, пришедшее «сверху». Одновременно ему наносят сильный удар сзади. Ему удастся активно преобразить удар, который бросил бы его в пропасть, и взять размах вместе с ним. Он прыгает в белое Ничто, он прыгает, прыгает и прыгает...

Он, должно быть, задремал. Когда он раскрывает глаза, съеденная дочиста тарелка стоит на откидной дощечке его кресла-коляски. Взгляд его движется к настенным часам, сейчас четверть третьего. Обед всегда бывает в час, значит, он проспал примерно один час. В этом нет ничего особенного, только странно, что он в этот раз не может ничего вспомнить о еде. Вообще ничего не может вспомнить. Странно... Могло ли быть так, что Брунелла вошла, когда он уже спал, и поставила ему ее собственную съеденную дочиста тарелку? Она непредсказуема... В комнате он чует ее старушечий запах, смесь смерти и аромата шариков против моли, которые она вкладывает в ее черную шелестящую одежду. Он прислушивается к своему животу и замечает, что голоден. Нет, он не поел. Что ему делать? Он мог бы позвать ее и просто потребовать принести поесть. Тогда она утверждала бы, что он уже поел, и если бы он спорил, подняла бы большой шум. Это претит ему. Тогда он сказал бы, что он хочет еще и попросил бы добавки. Она бы тогда тоже запро-

тестовала, хотя не так сильно. Она принесла бы ему, вероятно, кое-что, но только после того, как упрекнула бы его, что он обжора и должен обращать больше внимания на свое здоровье. Такой фарс также претит ему. Тут ему на ум приходит выход. В ящике его письменного стола еще лежит шоколад. С ним он сможет продержаться вторую половину дня и обойдется без неприятностей. Кроме того, он сможет оживить свои воспоминания, и не будет чувствовать болей, которые снова стали заметны. Он вытягивает ящик. От «безвредной» шоколадки осталась еще половина, от другой чуть меньше половины. По очереди он съедает их обе. При этом он понимает, что он никогда еще не принимал за раз так много наркотика, самое большее, два или три кусочка. Наверное, он немного сумасшедший. Тем не менее, он достиг той точки, где ему многое стало безразлично. Кроме того, он не «опьяняется», он сохраняет сознание. Если он захочет, он может в любое время возвратиться из картин. Но когда он съедает последний кусочек, то вспоминает, что в три часа дня придут его тридцать студентов. Это вызывает легкую подавленность, с которой, однако, сразу смешивается ожидание, радость вызова. Сможет ли он вести себя так, чтобы они ничего не заметили?

Он откидывается назад и ожидает эффекта. Примерно через десять минут звонит телефон. Именно теперь. На другом конце линии пыхтение, стенание. – Федерико Феллини. Не мог бы он быстро сюда приехать, жизнь стала для него невыносимой. – Да, да, приезжайте. Он знает это. Каждый раз, когда Феллини звонит, он стоит перед самоубийством. Тогда ему приходится довольно долго отговаривать его. Следующее крушение наверняка наступит.

Едва он снова удобно устроился в кресле-коляске, как он уже сомневается, действительно ли звонил телефон и был ли на проводе Феллини. Вероятно, это было только оживленное воображение? Чрезмерная доза могла уже подействовать. Против Феллини, кажется ему, говорит, прежде всего, то, что сейчас разгар дня. Феллини обычно пробирается к нему по ночам, как в бордель, с высоко поднятым воротником. Он трус. Он боится на следующий день найти себя в газете. Да, есть многие, которые отрицают его, к примеру, Элиаде, вероятно, также и Юнгер. Все же, если он им нужен, то они придут.

Уже звонят в двери квартиры. Он слышит, как Брунелла открывает дверь и тут же слышит голос Феллини. И так, все же, никакого обмана. С другой стороны – не приехал ли он слишком быстро? Обычно ему требуется минимум час, чтобы добраться сюда из этого киногородка... Чинечитта, а сейчас прошло едва ли две минуты. Феллини выглядит как всегда: толстый, потеющий и запыхавшийся, растрепанные волосы художника. В его пиджаке темные очки, которые он, вероятно, использует для маскировки. – Маэстро...- Широко протянув руки, он спешит к нему. – Маэстро, вы мое спасение, вы мой ангел!

- Ну, хорошо... Он осматривает его внимательно. – Как это вы так быстро пришли? – Я позвонил вам внизу на улице, прямо перед домом. От Феллини слегка несет спиртным, как всегда, когда он появляется. Все же он предлагает ему выпить, так как ритуал отработан. Кинематографист бросается к слону из слоновой кости и поворачивает ключ. Он угощается коньяком, потом доликает его себе еще раз. – Ах..., теперь я могу говорить. Он падает в кресло напротив инвалидной коляски.

- Я страдаю, маэстро, я страшно страдаю. Днем и ночью меня преследуют.

- Все еще женщины?

- Да, женщины. Женщины с огромными грудями и толстыми, колеблющимися задницами, гигантские массы мяса. Я одержим ими. Они сидят в моем мозгу, они являются мне, мне приходится рисовать их повсюду. Даже теперь, по пути к вам.

Он вытаскивает блокнот и показывает ему запутанный, с явными признаками бреда эскиз.

- Лечение не дает вообще никаких результатов. Вы знаете, что я доверился опытному аналитику. Мы уже с давних пор работаем над проблемой, однако, это становится все хуже. Чем больше он раскрывает, тем более живой становятся фантазии.

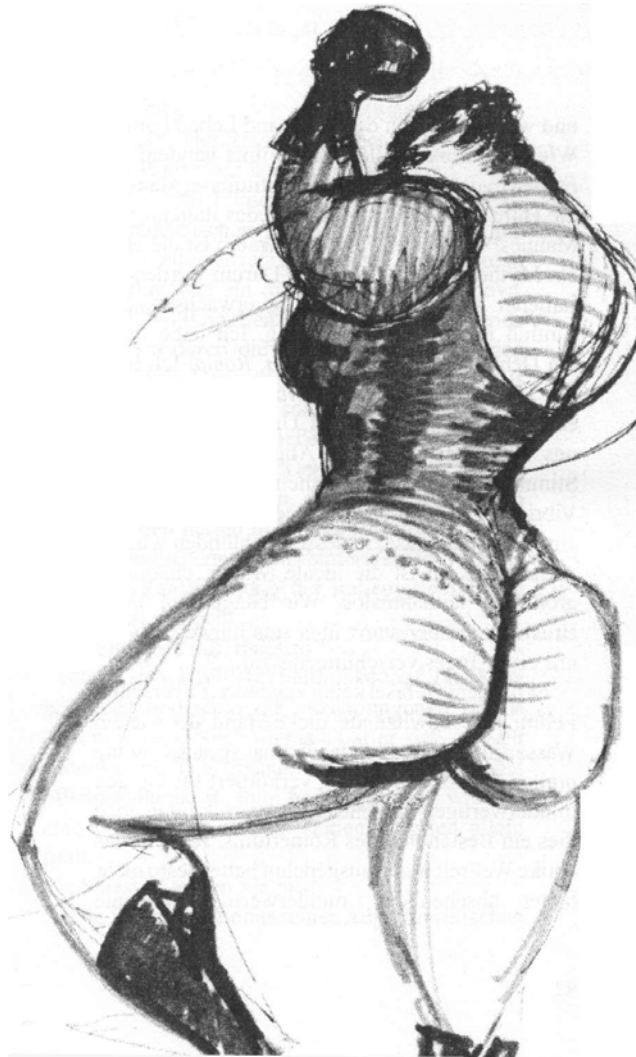
- Почему вы тогда еще ходите к нему?

- Потому что я все же хочу исследовать себя. Кроме того, я так нахожу множество материала, который я могу воплотить. Я живу и страдаю ради моих фильмов. Я – мученик, мазохист, я такой, я не могу иначе. Я жертвую мою кровоточащую душу на алтарь искусства. Особенно в моем следующем фильме, «Амаркорд» он должен называться.

- Я помню.

- Красивое название, не так ли? Но какие душевные муки скрываются за ним. Там обработаны наихудшие травмы моего детства. Меня систематически портили женщины – кормилицы, матери, монахини, учительницы. Я не знал этого, вытеснил все совершенно. Как говорил Карл Густав Юнг: «Женщина там, где в мужчине начинается мрак». Доктор Луччилло снова вытащил это из меня. Например, сестру из ордена в Сан-Винченцо, где я ходил в школу. Она сидела на кухне и всегда чистила картошку. Когда я проходил, она хватала меня и терла меня об ее большое, сильное тело. Мне было всего семь лет, разве это не ужасно? Еще сегодня у меня возникает эрекция, когда я ем картошку. – «Амаркорд», да, я это хотел сказать. Или я уже говорил? Представьте себе пляж в Римини. Грязный, запущенный, несколько жалких хи-

жин. В одной из них живет Сарагина, проститутка. Мои друзья и я посещают ее время от времени, я – самый младший, мне восемь лет. Мы даем ей несколько монет, она считает их и пристально рассматривает нас. Потом, под открытым небом, при шумливых волнах, начинается ритуал. Она медленно раздевается, вращается, показывает нам ее спину, бедра. Ее жесты торжественны, ее тело – величественная, белая масса. Я дышал ее запахом, смесью из водорослей, рыбы, табака, древесины и керосина. Я настолько поражен, что я минимум полчаса не могу говорить с моими друзьями. Тогда я однажды прогуливаю школу, только чтобы увидеть это сказочное существо. Грубым голосом она поет перед своей хижинкой «Румбу лесного ореха». Я снимаю свою матросскую шапочку и говорю: «Как прекрасно вы поете, милостивая госпожа». Тут она хватает меня и зажимает мою голову между ее огромными грудями. Я лишаюсь чувств, я хочу кричать, больше не могу дышать. – С тех пор я боюсь женщин... Однако, мой страх – это одновременно очарование, так же как относятся к святому.



*Эскиз Федерико Феллини (родился 20 января 1920 года в Римини; умер 31 октября 1993 года в Риме). Он принадлежит к числу самых выдающихся кинематографистов и режиссеров Италии.*



Женщины – это миф, тайна, они встречаются меня повсюду. Я полагаю, что даже кино – оно как женщина. Там сидишь в темноте, обернувшись к самому себе и спрятавшись, и ждешь, что с экрана придет жизнь. Как эмбрион. Все мои фильмы рассказывают о женщинах, и все женщины – это проститутки. Маэстро, проститутка – это настоящая мать каждого итальянского мужчины! Во всем Средиземноморье проститутка – это миф, мать-проститутка. Поэтому мы, итальянцы, так никогда по-настоящему и не стали взрослыми. Просто влияние слишком сильно. Я поставил им памятник. «Сатирикон», «Рим». Я показал город таким, какой он на самом деле, не столько дома, сколько что-то неизвестное, то, что глубоко внутри нас всех. Душевная бездна, полная басен, голосов и мифов, которые заставляют мою память вибрировать. Рим – это подсознательное, швейцарский сыр, в дырках которого мы теряем себя. Рим – это идеальная мать, хаотичная, великолепная, безучастная. Мы висим на ее груди, но она пристально смотрит поверх нас, пока не поглотит нас однажды...

Он почти не слушал этот вздор. Он презирает Феллини. Потевший, толстый мужчина, который болтает как водопад и при этом непрерывно массирует свои тугие бедра, воплощает для него тип неполноценного итальянца. Пеласг! К сожалению, это тоже составная часть римлян. Чем больше распространялась античная мировая империя, тем больше отвратительные, неполноценные элементы портили благородную римскую расу. И как раз тот отвратительный осадок, который поднялся наверх, Феллини так безудержно воспекает в своих фильмах. Такие люди живут в постоянном жару сексуального возбуждения. Они бегают за каждой юбкой как изголодавшийся Казанова. Они совершенно неуправляемы. Недостающее достоинство заменяется у них большим жестом, пафосом. Они пусты, тщеславны, заносчивы. Как официанты они поют «O sole mio». Они проскальзывают в исповедальню и с наслаждением демонстрируют себя. Даже их унижение – это для них получение удовольствия. Ах, если бы фашизм мог, все же, больше опереться на твердого нордического человека. Размягченный сброд сделал очищение итальянской расы невозможным...

- Помогите мне, маэстро!

Ради бога. Феллини упал на колени и тянет к нему вверх переплетенные руки. Он еще никогда до сих пор не доходил до этого. Погруженность в мысли, отсутствие реакции, очевидно, вызвали в нем панику, как у ребенка, который в своих страхах чувствует себя одиноким.

- Маэстро, помогите мне!

Потоки слез из его глаз смешиваются со зловонным потом. – Возьмите себя в руки, дружище, – произносит он с отвращением. – Встаньте, возьмите себя в руки! Но он слишком хорошо знает, что призывы тут не дадут результатов.



Где нет никакого чувства собственного достоинства, там его также нельзя и пробудить. Феллини нуждается в утешении. Он хочет этого и ничего иного, тогда он доволен. – Ах, студенты. Как же он мог забыть о них. Еще десять минут. Ему нужно теперь побыстрее распрощаться с Феллини, он все равно выбросил бы его, так или иначе. Но что-то темное в нем заставляет его повременить. Этот человек бросил ему сегодня слишком большой вызов. Он нарушил границу, по ту сторону которой он может реагировать только лишь с холодом и жестокостью. Пусть же он тогда так сильно и опозорится, трус. Всемирно известный Феллини в его квартире, в смешном, жалком состоянии. Застуканный толпой озорных парней. Завтра это наверняка было бы в газетах, и не только в итальянских. Итак, он долго утешает его. Пошлыми фразами, которые он использует и в остальном. – Вы все еще в юношеском жару, – слышит он свои слова (а Феллини уже за пятьдесят). – Вам станет лучше, я вижу это... наверняка, в следующем году... Обливайте время от времени свою голову холодной водой... Засовывайте туда также и ваш член, если возможно, в ледяную воду...

Феллини, все еще на полу, глядит на него сверху вниз мокрыми от слез глазами. – Спасибо, маэстро, спасибо. Вы единственный человек, который может мне помочь. Вы такой нетронутый, такой возвышенный...

Звонок в двери квартиры. Экономка открывает. Оживленный гул голосов. Он пристально наблюдает за ним, но Феллини, кажется, не слышит ничего. – Войдите! Дверь в студию открывается, и Феллини – исчез.

Он довольно озадачен. Он все время говорил с призраком и тратил свои ценные силы – совсем зря. Надо надеяться, хоть студенты настоящие. Но так и должно быть, конечно, они же отмечены в календаре для заметок. Он хочет, чтобы по нему ничего не было заметно. Но сегодня он сделает все кратко. Пятеро молодых мужчин опустили на ковер и образовали полукруг вокруг него. Магнитофон уже подключен, для них это важно. Ни одно его слово не должно пропасть. Студентам немного больше двадцати лет, и все они с разных факультетов. Их всех объединяет большой интерес к его философии. Они – показательный пример внимания и усердия, мечта любого преподавателя. Однако он думает, они уже зашли несколько слишком далеко. У него есть подозрение, что они исповедуют культ его личности, что его вид, поведение, для них важнее того, что он хотел бы передать им. И, естественно, его прошлое или скорее та картина его прошлого, которая сложилась в их головах. Доказательство: их волосы необычно сильно завиты и смазаны маслом, их ногти фиолетовые. Он не любит таких раздражителей, он называет их «эволюманами». С некоторого времени уже он хотел завести речь об этой теме, но, все же, тогда ему было слишком неудобно. Он не знает моду; с момента въезда в эту квартиру, итак уже добрых двадцать лет, он больше не был на улице. И телевизора у него тоже нет. Если теперь все молодые люди выглядят так щегольски, а он связывает это с собой, тогда он опозорится.

Итак, он лучше промолчит, хотя он почти уверен, что тут что-то связано с ним. По крайней мере, он может косвенно дать его студентам совет. Сегодня он намеревался поговорить с ними о ценностях арийского римского человека.

Он начинает, кратко описывая историческую ситуацию, в которой мог осуществиться этот тип: борьба латинян против властей юга – свержение культов Афродиты – сознание собственного, гиперборейского наследия – культура под знаком орла, топора и волка – отцовское право, патрициат. Потом он переходит к деталям. Он подчеркивает, что римская раса нордическо-германской формы произвела определенный стиль, который до сегодняшнего дня обязателен для всех ценных людей: достойную позицию. Простой, сдержанный внешний вид, без излишеств, строгий и разумный. Не актёрствовать как средиземноморский человек. Взгляд направлен прямо, твердый и убедительный. Целеустремленное действие без пафоса и больших жестов. Доблесть – мужественность и мужество. Быть твердым по отношению к самому себе, вежливым и полным понимания по отношению к другим. Самовоспитание, мудрость, сила души...

Он приятно поражен, как ясно и энергично ему удаются его речи. Никакого раздражения. Действие наркотика кажется преодоленным. Нет, они не это узнали, девушка была скрытной. Уже розовое, надушенное письмо появляется в его воспоминаниях. Он видит перед собой округлый почерк так отчетливо, как будто может прочесть его. Может ли он это на самом деле? «Глубокоуважаемый господин барон...». Он убеждается на опыте, что он может говорить со студентами упорядоченно и погружаться одновременно во внутренний мир образов. Он может расколоть себя и быть, тем не менее, неразделенным тут и там. Искушение велико...

«Глубокоуважаемый барон! Мое имя – Джина и мои сокурсники, которые Вас всегда посещают, рассказали мне о Вас. Они от Вас без ума. Я тоже очень хотела бы однажды познакомиться с мужчиной, который так умен и испытал так много. Не бойтесь, я не буду беспокоить Вас философскими вопросами. Для этого я слишком глупа и, кроме того, я изучаю юриспруденцию. Я хотела бы только однажды почувствовать Ваш опытный взгляд, если я стою перед Вами, это был бы самый большой подарок для меня. Мне 21 год, я темноволосяя, и у меня очень хорошая фигура. Могу ли я надеяться, что Вы позвоните мне?»

Как говорят сегодня? Правильно, «Groupie», «фанатка». Это девочки, которые бегают за знаменитостями. У него нет желания стать предметом женской истерии. С другой стороны, он польщен. И, кроме того... Все-таки у девочки есть такт. Она вряд ли писала бы об его «опытном взгляде», если бы она не знала об его физическом состоянии. Она не хотела смущать его. А если это была лишь только дурная шутка?

Несколько дней он медлил, потом набрал указанный номер. Она ответила. «Приходите завтра утром в 11 часов». Он сразу снова повесил трубку. Он осознанно назвал время, в которое у нее, вероятно, лекция. Он ожидал жертвы.

Робкий стук у его двери. Он прижал к глазу монокль, который добросовестно хранил в шкатулке в письменном столе. Еще раз заклинать старый миф... Он пристально смотрел на студентку и замечает, что она попала в самую точку. Малышка действительно красива. При этом проста, естественна, не притворяется. На ней белая блузка и обыкновенные синие брюки, волосы связаны в пучок за головой. Блузка расстегнута довольно широко, так что часть ее роскошной груди выглядывает из-под нее. Она не носит бюстгалтер... Девочка пытается улыбнуться. «Покрутитесь немного», говорит он мягким голосом. Она поворачивается. Обтягивающие джинсы демонстрируют круглую, великолепной формы заднюю часть. Из-за прилежной учебы краска на джинсах порядком стерта, так что эта часть тела выглядит в них еще более впечатляюще. Хотя он осуждает джинсы, у женщин так или иначе, все же, в этот момент он ценит их. «Разденьтесь, но не штанишки». Когда она готова, он протягивает свою узловатую руку. «Подойдите», шепчет он хриплым голосом. Дверь комнаты раскрылась на ширину щели, и неподвижный глаз становится заметным.

Он вздрагивает. Он замечает, что сидит с закрытыми глазами и прекратил говорить. Как долго уже? Только секунды, или в конце минуты? Он раскрывает глаза и застывает. Все пять студентов смотрят на него, совершенно неподвижного и с моноклем в глазу. У них есть толстые, горбатые носы, как их обычно носят на карнавале, и губы их окрашены ярко-красным. «Они все знают», мелькает у него в голове, «они хотят посмеяться надо мной». Следуя интуиции, он еще раз закрывает глаза, прищуривает их и открывает снова. Студенты выглядят абсолютно нормальными. Вероятно, немного сбитые с толку, так как они заметили, что с что-то было не совсем в порядке. – Простите, где я остановился? – Вы говорили о римской верности, – говорят они хором. – Правильно, верность, – он подхватывает стержневое слово и продолжает свой доклад. Но он не может упустить того, чтобы по прошествии определенного времени еще раз закрыть глаза. Незаметно, только на одну секунду. Когда он открывает их, студенты снова выглядят сумасшедшими. Быстро он закрывает глаза опять, сжимает их, открывает – студенты вновь выглядят нормальными. Он еще раз повторяет эту игру, тогда ему становится понятно, что так он очень скоро начнет вести себя необычно. Теперь он должен по возможности подойти к концу.

- Мои юные друзья, сегодня я немного устал. Отнеситесь с пониманием, пожалуйста... Студенты сразу понимают. Они даже выглядят озабоченными, пожалуй, даже чересчур сильно, как он находит. «Я не болен», так хочется кричать ему им. Они быстро собирают свои вещи, благодарят за поучи-

тельное занятие, лепечут извинение. Можно ли прийти еще? Как только они закрыли дверь за собой, он слышит, как из них вырывается ревуший смех.

Отравление намного сильнее, чем он предвидел, теперь он мучительно осознал это. Печальное состоит в том, что он, очевидно, потерял чувство реальности, что фантазмы проникают в его привычное восприятие, от которого он не может отличить их сразу. Прошли картины воспоминаний, которые он мог позволить разматывать перед собой с полузакрытыми глазами, всегда с дистанции наблюдателя. Теперь режиссура ведется больше не перед, а за его глазами, он сам будет актером в непонятной инсценировке. Но хуже всего, что он при всем этом считает себя совершенно бодрствующим, настолько бодрствующим, что он, как полагает, может логически мыслить, сомневаться в обманчивых образах и уличать их. Да, у него есть сомнение в своем бодрствовании, так как, возможно, рамки, в которые оно затянуто, тоже обманчивы. Были ли студенты действительно так необычно покорны, как он воспринимал их в контрасте с их карнавальным поведением? Говорил ли он действительно о ценностях арийского римского человека?

Его тело еще нуждается в движении, мелькает у него теперь. Он целый день только сидел. Не то, чтобы у него была потребность двигать его, внутри он уже давно расстался со своим телом. В этом он согласен с взглядами медиков, что люди, больные поперечным мелитом, легко пренебрегают своим телом. Они его даже больше не чувствуют. Его домашний врач как-то рассказывал ему об экспериментах с павианами, у которых был удален спинной мозг. Они после этого начали хватать свои ноги и ступни, грызли их и рвали на куски. С точки зрения инстинкта они вели себя совершенно естественно. Парализованные и ставшие безболезненными части тела принадлежали уже не к их телу, а к внешнему миру. Они стали безразличными объектами. Ну, так далеко как обезьяны он не хочет заходить. Он осознает свои обязательства как пациент. Несколько недель назад он после долгого, неподвижного сидения получил рану на бедре. Это для него ничего не значило, но он хочет доставлять своему врачу лишние хлопоты.

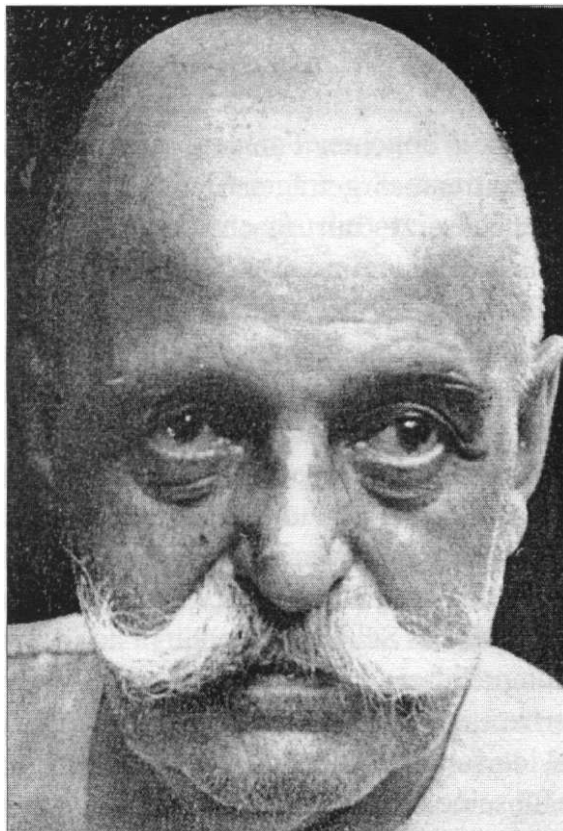
Так он катит свое кресло-коляску в ванную. На одной из стен укреплены петли, за которых он может подтянуться. Хотя он истощен, он медленно поднимает себя в вертикальную позицию. Пока он стоит неподвижно, он прядет дальше только что прерванную нить. Не дал ли Шопенгауэр настоящий ответ на проблему? – «Мир – это мое представление». Ну, конечно же. Совокупность всех появлений существует только в их бытии в понимании и в представлении благодаря «Я». В этом отношении переживание приема наркотиков создает ему только прецедент того, что и без того существует: непрерывной иллюзии. В безмерном океане образов как внешнего, так и внутреннего мира нет уверенности, индивидуум должен довольствоваться этим раз и навсегда. Единственную твердую точку можно найти в собственном существовании. Есть только одна уверенность, «Я», голый опыт очевидной в са-

мой себе действительности. Но как раз в этом и есть выход из проблемы, от-правная точка к чему-то позитивному. Он описывал эти приемы уже в своих ранних философских трудах, прежде всего, в «Эссе о магическом идеализме» и в «Человек как сила». Принцип, через который «Я» может построить новую, обширную действительность, – это его способность к власти. Как раз в той мере, в которой эта способность создает действительность, которую она хочет, она не должна больше просто принимать и терпеть существование. Она может сообщать свой самый внутренний, наивысший потенциал всему тому, что проявлялось раньше как только голый факт. Она может вырывать вещи из их стихийного развития и сгибать под законом сознательности, собственной воли. Путь власти – это не химера. В старых преданиях он был предписан полностью, например, в упражнениях аскетизма и йоги востока». В этом теле, на восемь пядей ввысь, содержится мир, происхождение мира, гибель мира и дорога к гибели мира», так сообщается в буддийском тексте. Уже одна идея является, как известно, актом свободной воли, она – действительность в потенции. Дело лишь в том, что нужно продвигаться вперед во все более глубокие слои действительности и растворять ее объективации в героическом огне творчески-магической мужественности – пока она сама не станет откровением индивидуума, что она освободилась и спасла себя. Вопрос только, до какой степени он может пересматривать уже загроубовшее. Ему еще придется поразмышлять над этим.

Когда он снова в своей комнате, он видит, что на письменном столе стоит чашка с какао, рядом с ней лежат три печенья. Его экономка была благо-склонна, иначе она большей частью утаивает маленькие сладости, к которым его так тянет в послеобеденное время. Сегодня он на это совсем не рассчиты-ывал. Она как раз несколько странная.

У какао иной вкус, чем тот, к которому он привык. Не хуже, но немного ори-гинально. У него необычайно сильный осадок. Пока он задумчиво перемешивает массу, он думает о Гурджиеве, русском мистике. Он никогда точно не знал, что он должен думать о нем, но определенные сообщения производили на него впечатление. Он вспоминает об одной беседе, которую он вел в два-дцатые годы с одним аристократом из его круга. Молодой человек побывал – как многие другие – в аббатстве Фонтенбло, чтобы познакомиться со стран-ным мастером. При его прибытии Гурджиев был как раз занят тем, что обу-чал своих учеников священному танцу, к которому были большие требова-ния, но он справлялся с ними играючи. Тем более посетитель был поражен, когда услышал, что всего неделю назад он лежал в постели со сломанными ребрами и с разорванными органами, более мертвый, чем живой. Гурджиев, у которого не было водительских прав, славился своей ужасной манерой во-ждения. Он гонял как дикарь, менял полосы движения без предупреждающе-го сигнала и совершал отчаянные маневры, чтобы обогнать других. Он пере-жил уже несколько тяжелых аварий, однако всегда выздоравливал в самое короткое время и, как слышали, становился сильнее, чем раньше. Теперь

молодой человек выдвинул тезис, что Гурджиев намеренно вызывал свои аварии. Пробужденный как он вряд ли мог бы попадать в них снова и снова. Он хотел пережить особенный, выходящий за грань опыт, который обычно не представляется. Он хотел испытать переживание смерти. Также и его учение сводилось только к тому, чтобы позволить человеку осознавать, «деавтоматизировать» его.



*Георгий Иванович Гурджиев (родился 13 января 1872 года в Александрополе (называются также даты 14 января 1866, 14 января 1877, 28 декабря 1872), умер 29 октября 1949 года в Париже) был армянским эзотериком, автором, хореографом и композитором. Он прославился благодаря учению о Четвертом пути и как основатель всемирной и разветвленной сети своих приверженцев.*

До тех пор, пока человек жил механически и не из своей «силы», необходимость обладала властью над ним. Гурджиев всегда был «поэтом ситуации». Еще на смертном ложе – это он услышал позже – он, несмотря на сильные боли, выпил чашку кофе и выкурил сигарету. На нем была его привычная феска и дорогое пальто из верблюжьей шерсти, и он, как говорили, только снисходительным взглядом смотрел на дрожащего врача в больнице. «Если вы устали, доктор, то отдохните немного». Действительно впечатляюще.

Могло ли быть так, что самообладание Гурджиева втайне повлияло и на него? Прежде всего, в те весенние дни 1945 года, когда он работал в Вене в различных архивах, чтобы написать доклад о масонских ложах? Несмотря на

сильные бомбардировки он никогда не уходил в бомбоубежище, до тех пор, пока 12 апреля судьба не настигла его. Он считал себя абсолютно свободным и осознающим. Настолько осознающим, что мог сказать о себе, что не вещи случались с ним, а он с вещами. Теперь ему пришлось более чем сполна заплатить за эту его позицию. С тех пор, однако, он задавал себе вопрос, что он сделал неправильно. В его биографии должен был быть какой-то момент, когда он не справился, когда сделал что-то не так, что нанесло удар по его развитию, удар, которого он не заметил. Не был ли это тантрический ритуал с Нагловской?

Покашливание отрывает его от его мыслей. На диване напротив него сидят граф Дюркхайм и его коллега доктор Мария Гиппиус.

У него больше нет желания. Картины, которые стали самостоятельными, постепенно становятся мучением. Как раз беседу с графом он помнит, как мучительную и бесплодную. Он пытается игнорировать обоих. Теперь он хочет спокойствия, никаких картин больше, конец, конец рабочего дня.

Граф Дюркхайм снова откашливается. Не желая этого, он смотрит на него и видит, что он доверительно ему подмигивает. Что только позволяет себе этот человек! Как раз поэтому он хочет потребовать от него объяснений, тут он останавливается. Подмигивание. Да, разве же это не мост, фантастический шанс для него? Несколько лет назад, это он знает точно, граф Дюркхайм не подмигивал. Он бы наверняка не забыл о таком необычном его поведении. Но в остальном все точно, как тогда. Оба одеты как тогда, у них то же самое несколько растерянное выражение лица. Теперь он вспоминает о каждой детали. Никакого сомнения, то, что он видит, – это сцена из его прошлого. Так реально, как будто бы она происходит сейчас. Подмигивание – это составная часть современности. Это тайный знак, знак того, что настоящее и прошлое сейчас, в этот момент, совпадают. Собственно, они совпадают всегда, он это знает, как и то, что будущее переплетено в обоих. Не существует времени как сущностно свойственной вещам модальности. Как могло бы быть иначе, если даже и действительности нет? Время, это только форма представления, через которую человек вынужден воспринимать вещи и события. Как раз в этом и лежит особенность этого мгновения. Разделяющий промежуток «становления», который связывает две даты во внешне линейной последовательности друг с другом, убран. Туман, который обычно скрывает познания, рассеялся. Это значит, что он может активно вмешаться в прошлое. У него теперь есть возможность осознанно изменить определенное стечение обстоятельств, которое в связанности со многими другим стечениями обстоятельств создало комплекс причин для начала современных обстоятельств, и навязать вместе с тем иной ход развитию событий. Определенно это было бы только попыткой в малом. Но если бы ему удалось провести беседу с графом Дюркхаймом иначе чем тогда, он получил бы доказательство, что также было бы возможно и другие события, как то, которое судьбоносно вызвало его

несчастный случай, задним числом «отменить» их, и тем самым, согласно закону необходимости, ликвидировать и их последствия. «Вспомнить о будущем», такой отныне была бы его определяющая действия задача, очень тонкая, осторожная, но крайне действенная. Это было бы так, как если бы он получил законченное ткаческое произведение еще раз в свои руки и независимо от его «результата» начал бы новый образец. У древнеримских ауспий и авгуров, в принципе, было то же самое. Было известно, что определенные события осуществляются в силу непреклонного порядка. Однако, культовый акт был в меньшей степени предназначен для того, чтобы исследовать и принять будущее как обязательное, чем для того, чтобы изменить уже идущие процессы становления, «зародыши», с помощью умелого вмешательства и тем самым сменить направление развития событий.

- Я заверяю вас, что мои мастера действительно рассматривали «Хара» как источник божественного. Беседа, кажется, длится уже давно, только он не заметил этого. Однако он сразу же полностью в теме и возражает графу: – Это невозможно. Либо вы неправильно поняли, либо мастера не сказали вам всего. Это иногда случается при тайном учении. Вероятно, ваши мастера также были мастерами не первого уровня.

Граф Дюркхайм качает головой. – Собственно, я так не думаю, – говорит он серьезно, – на всем Дальнем Востоке нижняя часть живота рассматривается как самая важная часть. «Хара» – это середина тела и середина жизни. Человек без «Хара» – это человек без центра, у него нет опоры, он как лист на ветру. Подумайте о сильно подчеркнутой области живота у статуй Будды и у многих других богов. Даже на Западе, прежде чем центр был переведен наверх, художники подчеркивали середину тела. Например, на византийских и готических изображениях Христа.

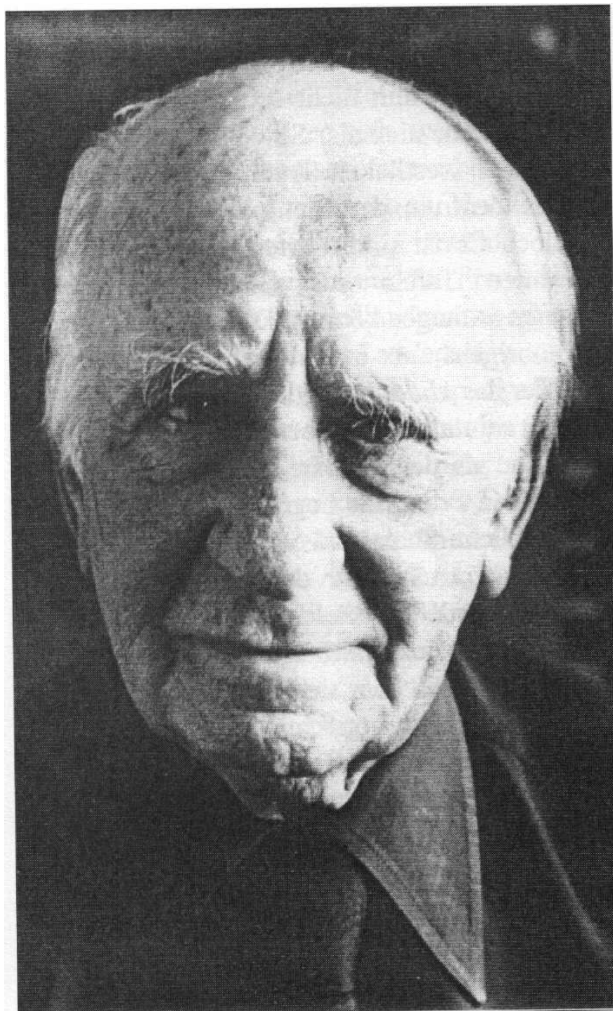
- У подчеркнутой области живота есть, пожалуй, скорее символическая ценность. По меньшей мере, в даоизме живот считается областью пустоты. Будда с большим животом обладает, таким образом, не физическим значением, которое вы приписываете ему, а сообщает, что пустота сильно развита в нем. Вы не можете это так сразу связывать с «Хаара».

- Нет, нет, тут имеется в виду именно телесная зона. Мастер Окада определенно говорил, что «Хара» это «ларец божественного».

- Но этого не может быть. Середина Земли не божественна, никогда. Как в восточной, так и в западной традиции сердце обозначается как центр человека. Так как вы все же христианин, вы можете попробовать начать что-то с известными досками из Theosophia Practica Гихтеля. Расстановка совпадает, впрочем, с индийским учением о чакре, согласно которому муладхара, центр Земли, является местонахождением чисто животной жизни. Этот центр можно понимать только как нижний исходный пункт духовного процесса. Здесь при-



существует женская Шакти, понимаете? У силы змей только тогда есть ценность, если она вдоль позвоночника поднимется до чакры макушки, где она растворяется в принципе мужского, из которого она тоже прибыла. Будьте осторожно с односторонним акцентом на нижнюю область. Слишком легко оказывается утраченным небо, духовное бытие, как раз у людей, которые предаются, как сегодня стало привычно, мистицизму жизни.



*Карл Фридрих Альфред Генрих Фердинанд Мария Граф Экбрехт фон Дюркхайм-Монмартен (родился 24 октября 1896 года в Мюнхене; умер 28 декабря 1988 года в Тодтмоосе в Шварцвальде) был немецким дипломатом, психотерапевтом и учителем дзен.*

Он немного разгорячился. Он не понимает этого графа, который с упрямством насекомого снова и снова возвращается к этой своей «Хаара». Граф предпринял такую дальнюю поездку в Рим, только из-за его статьи «Об инициатическом», которая, по собственным словам графа, «глубоко поразила» его. Но потом он, однако, игнорирует ведущие дальше соображения. Мужчина кажется немного наивным, и по нему это даже видно: нос картошкой, простоватое выражение лица, улыбчивый, но все же, снова и снова беспокоящийся, если в поле его зрения попадают образы женщин, которые, очевид-

но, магически притягивают его. Как раз типичный поместный дворянин, в определенной мере слишком прост, провинциален, хоть и прилетевший в Японию, но всегда с тяжелой землей родины в багаже и поэтому не понявший самое важное. Да он и сам тоже соглашается, что он не большой мыслитель. Он как раз сказал, что для него важна «беда перекошенного кверху западного человека». Его концепция «Хара» должна была подчеркнуть другую, направленную книзу линию. Но этот граф не учитывает, что реакции еще никогда не устраняли неправильное положение, а только переводили его в другую крайность. Что он там теперь бормочет: – Мы не можем пренебрегать землей? Он, пожалуй, действительно принадлежит к тем апостолам нерационального, которые прославляют инстинктивную жизнь и рассматривают подсознательное в качестве источника откровения. Его коллега, впрочем, тоже не нравится ему. Он не говорит ни одного слова и рассматривает его всегда с испугом и с состраданием. Но ему не нужно его сочувствие. Хотя он как раз в этот день страдает от сильных болей, так сильно, то, что ему почти отказывает голос.

Неблагоприятная ситуация беседы привела к тому, что он утратил всякую дистанцию по отношению к развитию событий. Он страдает. Он разволновался. Так горизонт освещенного мгновения опустился на тот нормальный человеческий уровень, который отличается побуждением к другому, на которое воздействует тяга другого, короче – то основное состояние, которое буддизм обозначает как танха, желание. Тем самым также восстановлен результат постоянно текущего времени, которое скрывает взгляд на целое, высший смысл. Так он снова сеет семена его избранной кармы, не сознавая этого. Хоть он и замечает во время разногласий, что граф снова и снова подмигивает ему украдкой, и что этот жест вовсе не подходит ни к этой ситуации, ни к его озабоченному виду. Мучительно двигается тень воспоминания. Он, все же, должен что-то сделать, он что-то должен был бы сделать... напрасно. То, что он также воспринимает и что раздражает его не меньше, следующее: хотя он снова и снова жестко атакует его, графа Дюркхайма так и не удается вывести из себя.

Он хотел бы приписать это его простоте, однако, чувствует, что за этим кроется что-то большее. Невозмутимость этого человека основывается не на бессилии или толстокожести, а как раз на открытости. Она освещена добротой и понимающим вниманием, которое принимает все, с чем сталкивается, не осуждая. Его собеседник излучает силу, которая хочет не одолевать, а нести, не принуждать, а давать простор. Теперь это приводит к тому, что он сам тоже постепенно становится более мирным и оставляет спорный момент в покое. Он чувствует потребность, которой он только редко уступал в его длящемся десятилетиями мученичестве, его пленении в холоде, боли и изоляции: он хотел бы выговориться. Так он рассказывает о его несчастном случае в тот роковой апрельский день, когда бомба попала в соседнее помещение архива, и взрывная волна бросила книжную полку ему на спину, как раз,

когда он читал. Он рассказывает о бесконечных неделях и месяцах в австрийской больнице, где его втиснули вместе с другими инвалидами войны. Он снова наглядно представляет, что первоначально его ранение вовсе не было таким плохим, он еще мог двигаться. Но его лечение все испортило. Прежде всего, сначала было нужно, чтобы он лежал совершенно спокойно и горизонтально на протяжении трех месяцев. Вместо этого его таскали туда-сюда. Так как палата была переполнена, и вообще царил большой хаос, его постель постоянно толкали. Но каждый раз это были болезненные, непоправимые удары по его спинному мозгу. Но самым худшим стала операция. Больничный врач, убежденный антифашист, слышал о нем. Он с язвительным смехом махал своим скальпелем: – Синьор Эвола? Вот вас-то я сейчас и полечу... После этого с его спиной было покончено.

Он рассказывает также о ссорах с его домашним врачом, которые, наконец, привели к замене врача. Посторонний человек только с большим трудом может понять положение хронически больного, которого не хотят не только лечить, но и признавать. Как раз этого не хватало доктору Прочези.

- Вы не можете называть это болями.

- Так что же тогда это такое?

- Фантомное ощущение. Боли в ваших ногах нереальны.

- Но я же чувствую их, да еще как! Вы наглец!

- Но вы не можете чувствовать их. Связь с нижней частью вашего тела отрезана на нейрофизиологическом уровне. Ваш случай не отличается от случая ампутированного, который тоже иногда думает, что все еще ощущает недостающую часть своего тела. Однако это иллюзия, функциональная невозможность.

С чисто медицинской точки зрения врач, наверное, мог быть прав. Он действительно был разделен со своей нижней частью тела. Если он в безболезненные времена закрывал глаза, он чувствовал себя живым бюстом. Только голова, руки и верхняя часть туловища, которые свободно парили в пространстве. Это висячее положение не было неприятным. Если он потом снова открывал глаза, остаток его тела казался ему чужим, не принадлежащим ему. Однако можно ли было поэтому просто так разубеждать его в том, что он чувствует боль?

Так как он уже начал об этом говорить, он переходит и к обсуждению отношений с его экономкой. Эти отношения всегда были с проблемами, но уже несколько лет они становятся все больше невыносимыми. Он страдает от этой женщины, он боится ее – говорит он только совсем тихо. Началось ли это с того, что она начала окутывать себя все больше? С самого начала она

носила это старомодное черное шелковое платье, которое делало ее тело бесформенным, и при каждом движении шелестело как миллионы крыльев насекомых. На пол всегда свисал его большой кусок. Затем добавилась черная шелковая шаль, потом черный капюшон, который она пришила к воротнику, и который закутывал ее лицо в непроницаемые тени. Она никогда не была красивой, но неужели из-за этого ей нужно было доходить до этого? Ему казалось, как будто укутывание Брунеллы во все более плотную оболочку шло рука об руку со своего рода разоблачением, снятием покровов: обнажением мрачной, вероятно больной сущности. Он никогда не знал на самом деле, где она была и что она, собственно, делала. Когда ему казалось, что он слышит шелест ее платья из кухни, он практически одновременно слышал то же самое из ее спальни. Вопреки ее возрасту, она была удивительно проворна; на беззвучных войлочных подошвах она молниеносно скользила по квартире, причем она избегала встречи с ним. Это была часть ее стратегии, которая состояла в том, чтобы быть неуловимой и одновременно быть вездесущей. Его скованное состояние, естественно, давало ей фантастические возможности, которыми она бессовестно пользовалась. Она планомерно сбивала его с толку. Она пугала его. Ночью случалось, что его будил резкий смех. Когда он зажигал свет, он был только один. Лишь парящий в комнате запах нафталина и запах смерти выдавал, что она посетила его. У нее были ключи ко всем дверям.

С дьявольской изобретательностью она придумывала все новые мучения и унижения для него. В омлет она сыпала сахар, а в чай соль. Она копалась в его письменном столе, в его документах, также и вещи исчезали. Когда он требовал от нее объяснений, она принципиально все отрицала. Она сразу начинала ругаться, называла его неблагодарным, злым и не совсем в своем уме. На следующее утро булочки были твердыми как камень. Так он научился безмолвно выносить ее дьявольские причуды. Он только боялся, что она однажды полностью сойдет с ума, и что тогда все пойдет кувырком. Кое-что указывало на то, что ее состояние было опасно близко к этому, например, ее странные диалоги, которые доходили до бредового усердия. «Да, да, да», слышал он все чаще ее резкий голос, «я сделаю это, вы можете полагаться на меня... я справлюсь с ним». Что он должен был делать? Как он должен был себя вести? Граф и его спутница все время внимательно слушали. Теперь они выглядят заметно озадаченными. – Это страшно, – вырывается у госпожи Гиппиус, – вы должны расстаться с нею, немедленно.

- Не так громко, – шепчет он испуганно, – она подслушивает у двери, она всегда это делает, когда я принимаю гостей.

- Разве она понимает немецкий язык?

- Нет, но она замечает, если говорят о ней. Потому мне приходится потом за это расплачиваться... Итак, расстаться с ней не так-то просто. Когда один

мой богатый друг в 1948 году предоставил мне в распоряжение эту квартиру, он вместе с квартирой сразу же передал мне и экономку. Она, скорее всего, уже жила там. Речь идет о его кухне, которую он расхваливал как «жемчужину». Он хотел предотвратить ее одиночество и одновременно предоставить мне помощь, в которой я нуждаюсь. Я снова и снова замечал, насколько он убежден в этой женщине. В его присутствии она как будто превращается, играет кроткую и заботливую. Если бы я захотел уволить ее, он вообще бы этого не понял, ведь у меня не было бы и права на это. Тогда мне пришлось бы уже съехать с этой квартиры, но в моем возрасте... И потом еще издержки, обстановка, много книг...

Граф Дюркхайм замолкает, он хотел бы поразмышлять над вопросом. Может ли он прийти еще раз на следующий день? При прощании он хватается за руку парализованного обеими руками. Он долго держит его руку в своих руках. Его жест выражает участие и теплое внимание, а также благодарность по отношению к мастеру, которого он смог видеть таким, какой он есть.

Он внимательно слушает, как его посетители покидают квартиру. Шаги, которые удаляются, вежливое слово прощания к Брунелле, которая покорно что-то отвечает, открывает дверь, снова закрывает и со звоном навешивает цепочку. Теперь он, наконец, один. Что за день был сегодня! Так много посетителей, так много впечатлений и переживаний. Истощенный, но с приятными ощущениями он опускается в кресло-коляску. С полуоткрытыми веками он пристально смотрит в пустоту. Настал вечер. Он замечает это по тому, что проникающий сквозь занавес свет изменился. В течение дня было просто светло, теперь он сверкает в приглушенном красном цвете. Темно в Риме не бывает никогда. И, все же, у света этим вечером есть особенный нюанс. Он как бы наполнен волнением. Тени дрожат над занавесом, высовываются и прячутся, играют в глупую игру с другими неотчетливыми фигурами. С улицы наверх проникает шум, но это не шум обычного автомобильного движения, а какое-то с трудом определяемое шипение и бурление. У него возникают мысли об огромном котле, в котором булькает, поднимая пузыри, какая-то кипящая масса. И иногда что-то резко доносится оттуда из тумана: крики, свист и другие сигналы, похожие на цветные ракеты.

«Там снаружи, должно быть, что-то происходит», думается ему. Однако эта мысль не тянет за собой интерес, ему, в принципе, безразлично, что там происходит. Окно остается занавешенным, как всегда.

- Понравилось ли вам какао, Джулио?

Он медленно поворачивается. За креслом-коляской стоит его экономка.

- Сколько раз я уже говорил вам, что вы должны обращаться ко мне «синьор».

- Простите, синьор, какао вам понравилось?

Он не отвечает. Он чувствует что-то подлое. С пренебрежительным спокойствием он пронзает взглядом тени под ее капюшоном. Как она выглядит! Это сухое, острое лицо, спутанные волосы, насмешливо искаженный рот с гниющими зубами, из которого исходит противный запах. И глаза, маленькие, круглые и неподвижные, с красной каймой. Он вспоминает о безжалостных глазах ворон, она вообще выглядит как птица, птица, выискивающая добычу. Он никогда еще не видел ее так близко, его охватывает дрожь.

- Я, – снова начинает она каркать, медленно, с наслаждением, – я приправила какао вашими мыслями, вашими ужасными химерами.

Он молчит, продолжая смотреть на ее искаженное от злости лицо.

- Я сожгла, синьор, несколько ваших недавно написанных страниц. Они мне не понравились. Пепел от них я насыпала в какао.

- Я уже думал, что вы туда добавили яд. Это было бы освобождением.

- Вас это наверняка бы устроило. Снова уклониться в сторону, как вы всегда поступали. Так легко вы у меня не отделаетесь.

- Нет, вы хотите мучить меня.

- Точно!

- Почему вы ненавидите меня?

- Потому что я эриния.

- Вы стервятник, который пожирает мою печень.

- Стервятник? У вас никогда еще не было здорового отношения к вашему телу.

- Какое вам дело до моего тела? Я – не мое тело.

- Нет, вы бог. Вы так думали уже тогда, помните еще? Прямой, несгибаемый и неприкасаемый под градом бомб...

- Я не сожалею об этом. Я совсем ни о чем не сожалею в моей жизни. За исключением лишь того, что я принял вас на работу.

- ... и теперь ваше тело мстит вам, Джулио. Сама жизнь мстит вам. Она вас щипает, мучит и донимает, потому что вы, наконец, должны стать человеком.

- Прекратите философствовать. Я прикажу вас вышвырнуть.

- Это вам не удастся. Я останусь у вас, до тех пор, пока вы не выучите свой урок, до тех пор, пока вы не опуститесь на землю и не будете молить о прощении. Мне с вами нелегко. Вы тверды как железо. Со времен вашей молодости вы всегда пишете одно и то же. Вы не развились. Вы поработали женщин и поэтому чувствуете себя сильным. Вы растоптали горы женщин... Тысячи, тысячи душ, которыми вы злоупотребили, они кричат, они жаждут возмездия, они позвали меня, меня, эринию... Вы слышите этот шум? Это они.

- Это уличное движение.

- Нет, это души. Они собрались на улице, они хотят внутрь.

- Вы сумасшедшая! Я сейчас же позвоню доктору Ломброзо.<sup>2</sup>

- Вы не сделаете этого.

- Но где же телефонный справочник?

Он вытягивает его из письменного стола, быстро перелистывает, находит номер. С трудом он дотягивается до телефона, тянет его к себе. Она не препятствует ему. Она наблюдает за ним своим коварным взглядом. Когда он набрал номер, нет никакого сигнала. Он смотрит на провод; провод перерезан.

Старуха пристально смотрит на него своими глазами-пуговками. – Джулио, знаешь ли ты, что ты в моей власти?

- Сколько раз мне еще говорить вам...

- Это произойдет еще сегодня вечером, Джулио. Души взывают к мести. Я вызвала помощь, моих любимых сестер. Они придут...

Снаружи раздается резкий свист.

- Слушай, это они... Фурия с восхищением прислушивается. – Мои сестры, дочери ночи, они приближаются на железных крыльях...

Внезапно она прыгает к окну. – Аллекто, Мегера, – кричит она резким голосом. Она рвет занавес в сторону, так сильно, что тот падает. Она хватает

---

<sup>2</sup> Психиатр, внук знаменитого профессора Чезаре Ломброзо, автора «Гениальности и помешательства».

ручку окна. – Нет, нет, – рычит другой голос. Стекла растрескиваются, трещат, дребезжат, горячий порыв ветра проносится в комнату, поднимает вверх бумаги, вносит внутрь беспорядок улицы – шипение, свист, яркий луч света, который слепит ему глаза. Он вскинул руку, прижал лицо к локтевой впадине. Когда он снова опускает руку, то видит, как в воздухе парит фигура. Она, кажется, горит, нет, она освещена. Мужчина на той же высоте, что и он, который смотрит ему в глаза. Танцор... канатоходец. Канат натянут над улицей и прикреплен к кованой решетке его балкона. На мужчине зеленое трико, в руках его шест, и – чудовищно – он что-то несет на плечах. Это девушка. Она тоже одета в трико, но только желтое. Она обвила его шею своими голыми руками. Она озорно подпрыгивает своей задницей, она легка как перышко. Но мужчина все же борется за свой баланс. Каждый его шаг – мучение, игра ради его жизни. Иногда кажется, что ему конец. Он останавливается, начинает качаться. Но женщина поддразнивает его дальше. С радостными возгласами она ударяет его по бокам своими маленькими сапожками. Мужчина, кажется, готов упасть, но снова удерживается, большие капли пота катятся у него по лбу. Единственное, что дает ему еще опору, это взгляд в глаза другого, который со своей стороны пристально смотрит на него и потеет... и дрожит. Так как танцор, который медленно, очень медленно, бесконечно медленно приближается к нему, выглядит так же, как он сам. Только моложе, красивее, совершеннее. – Это конец? – с трудом произносит он. Из Оркуса времени серьезный, но все же благосклонный голос отвечает ему. – Нет, Джулио – это – еще – не – конец.



**Оливер Риттер:  
Фиуме или смерть**

«Фиуме или смерть» рассказывает авантюрную историю города Фиуме, который легендарный итальянский солдат и поэт Габриэле Д'Аннунцио 12 сентября 1919 года захватил со своей маленькой частной армией. В течение своего длившегося 15 месяцев господства над городом Д'Аннунцио предается радикально архаичной мифологизации. В красочном сценарии Д'Аннунцио связывает живую римскую традицию с модерно-декадентским гедонизмом и создает связующее звено протофашистского ощущения жизни. Между грохотом сапог гордых легионеров и средиземноморской «dolce vita» Марс и Эрос устраивают бурную свадьбу – жизнь празднует себя как единое произведение искусства. В созданной Д'Аннунцио для Фиуме конституции эстетика объявляется законом. Художники, авантюристы, интеллигенты и солдаты танцуют свой последний танец в кроваво-красном закате в погибающем городе. 68 страниц, цена: 7,50 Евро.

**МОЛОДОЙ ФОРУМ**

**Александр Барти, Юлиус Эвола, О-йо-Мей, Мартин Шварц:  
Юлиус Эвола; введение и рецензия в Германии и Венгрии**

Живущий в Европе японец О-йо-Мей в своем написанном со страстью тексте занимается прежде всего духовными основами эволюанского «традиционализма», из которых исходят все другие ходы мысли Эволы.

Молодой форум издание Эволы II. В этом издании МОЛОДОЙ ФОРУМ публикует доклады Венского симпозиума, который Синергон-Германия, Синергон-Австрия и Немецко-европейское общество исследований устроили в мае 1998 по случаю столетия со дня рождения Юлиуса Эволы. Издание делится на три части:

1. Мартин Шварц: Пути и заблуждения восприятия Эволы в Германии
2. Александр Барти: Восприятие Эволы в Венгрии
3. Юлиус Эвола: Проблема декаданса

Обе работы вместе: 56 страниц, цена: 6,00 Евро.

**МОЛОДОЙ ФОРУМ номер 6**

**Александр Дугин, Юлиус Эвола, Фальк Липке:  
«Эвола – взгляд слева»**

Юлиус Эвола, представитель традиции и реакционер, считался во времена его молодости одним из ключевых представителей дадаизма в Италии. Но труды Эволы обнаруживают в нем первоначально «анархиста справа», сплошь антибуржуазные позиции которого очень отличаются от привычных политических правых. Во многочис-

ленных его работах читатель встретит Эволю, который явно резко противоречит тому реакционному подходу, до которого часто «обрезают» идеи Эволю. В этом смысле Александр Дугин, идейный наставник «Евразийского движения» в опубликованной здесь статье представляет требование «заново открыть революционера» в мышлении Эволю. «Несомненно, в совокупности его трудов сильно выделяется революционный аспект», который, по словам Дугина, «можно было бы обозначить как «левое направление» в послании Эволю». – Фальк Липке в своей спорной статье «Метафизическая система мира и антибуржуазный дух» опирается на направленные против истеблишмента «левые» аспекты мышления Эволю и констатирует необходимость назревшего радикального поворота – также и среди правых. – Статья «Наш антибуржуазный фронт» 1934 года дает слово самому Эволю: в ней мыслитель резко выступает против буржуазной, верящей в прогресс позиции в тогдашней фашистской Италии. Эти три текста завершаются книжной рецензией с несколькими комментариями к марксистской критике капитализма. 56 страниц, ч/б иллюстрации, розничная цена: 7,00 Евро.

В серии «Молодой фронт» до сих пор вышли: Евразия превыше всего, Габриеле Д'Аннунцио – философия и политика, Ислам и правые, Корнелиу Кодряну и Железная гвардия, Сто лет Савитри Деви.

---

Русский Интеллектуально-Познавательный Ресурс  
«ВЕЛЕСОВА СЛОБОДА»



Если вы хотите автоматически получать информацию о всех обновлениях на сайте, подпишитесь на рассылку --> [Новости сайта Велесова Слобода](#).